



Людмила
ЯКОВЛЕВА

ДОЛГОЕ ЛЕТО

ДЕТСТВА

КЕ
МЕ
РО
ВО 2004



Людмила Яковлева

ДОЛГОЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

Повести
Рассказы

*Уда добро нашей
Л. Яковлева
от автора.
2005 г.
г. Тайга:*

48168-2

Центр
Кемерово области

КЕМЕРОВО
КУЗБАССВУЗИЗДАТ
2004

*Автор благодарит за постоянную поддержку и помощь в издании книг
Главу администрации города Тайги Александра Викторовича Маера,
а также заместителя губернатора Кузбасса Александра Ивановича Копытова*

Яковлева Л.

Я47 Долгое лето детства: повести, рассказы. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2004. – 162 с.

ISBN 5-202-00711-6.

Новая книга тайгинской писательницы Людмилы Яковлевой – о днях давно минувших, о далеком военном и послевоенном времени. Но и сегодня судьбы девочек и мальчишек той поры вызывают у читателя – как юного, так и взрослого – живой интерес и чувство сопереживания.

Свой новый сборник повестей и рассказов писательница приурочила к знаменательной для нашей страны дате – 60-летию Великой Победы.

ББК 84Р7-4

Дорогим моим внукам —
Ироке и Евгению —
посвящаю

ЗОЛОТЫЕ СТРЕЛЫ

Война

Городок наш находится за тысячи километров от линии фронта. Но война чувствуется и здесь. В магазинах пустые полки – это война. И то, что мама вместо положенных восьми часов работает в день по двенадцать, – тоже война. В том, что мы сидим с братом целыми днями дома одни, мучимые голодом, виновата опять же война. Страшная, непостижимая война врывается в наш тихий заснеженный городок горестным плачем женщин, получивших с фронта похоронку. И в играх наших, и в рисунках моего брата Жени – тоже война. Сосредоточенно сдвинув белесые брови, брат склонился над листом бумаги. Пушки, танки, военные корабли – чего только нет на его рисунках. Здорово рисует Женька! Целые картины. Красочные, как живые. В сером небе стремительно летят легкие голубые истребители с красными звездами на крыльях. А большие неуклюжие самолеты с черными крестами падают вниз, оставляя за собой столб красного пламени и черного дыма.

А вот пригорок. На нем невиданное орудие с множеством колес. Оно изрыгает дым и огонь, и снаряды сыплются из него как горох на головы врагов. Фашисты бегут, кругом валяются убитые. У орудия стоят наши бойцы, а один немного в стороне от других, с поднятой вверх рукой – командир, наш папа. Он писал в письме с фронта, что командует орудийным расчетом, а орудие его называется «катюша».

Я тоже рисую. Но мои рисунки пестрят бабочками с чело-

вечьями лицами, уродливыми девочками в ярких платьях с растрепанными пальцами на руках и кособокими домиками. Никогда не научиться мне рисовать так, как умеет Женя. Но брат утешает меня, что научусь, когда доживу до его лет. Мне пока только пять, а ему семь с половиной.

Томительно долго тянется зимний день. Еще недавно нашу жизнь так оживляли папины письма с фронта. С трепетом Женя брал серый треугольник из рук почтальона. Нам казалось, что письмо пахнет порохом и сохраняет жар боя. Письма были короткие, написанные карандашом крупными размашистыми буквами. Мама, придя с работы, два-три раза перечитывала их, а потом рассказывала нам, как выдалась свободная минутка у папы, как отдыхает его большая умная «катюша» и рядом с ней – его товарищи-бойцы. Скоро снова в бой, а папа думает о нас. И, торопливо вырвав листок из блокнота, пишет нам письмо. Между скупых строчек письма мама читала то, что не смог бы прочитать никто другой на свете. Она чувствовала и настроение отца, и исход боя, и еще много мелочей, дорогих для нее и нас.

Нет писем

А вот теперь уже несколько недель нет писем с фронта от папы. Напрасно мы с Женей с надеждой смотрим в окно. Каждый день в одно и то же время почтальон опять и опять проходит мимо нашего дома. Мама, приходя с работы, с тревогой и ожиданием смотрит на нас. Она сразу по нашим лицам узнает, что письма нет. Глаза ее тускнеют, и она кажется очень-очень усталой. Мама садится, откинувшись на спинку стула, закрывает глаза и сидит так несколько минут, безвольно уронив на колени натруженные руки. Они у мамы все в ссадинах, порезах, с черными ободками у ногтей от въевшегося машинного масла. Мама работает токарем в паровозном депо. Она вытачивает на станке детали для паровозов, которые ремонтируют в депо. С утра до ночи мама отстаивает каждый день долгие часы у своего станка. Вместо игрушек она приносит нам иногда с работы радужные витые стружки. Одни тоненькие и гибкие, другие – короткие и толстые. Я храню их в картонной коробке.

Вот и сегодня мама устало проводит рукой по волосам, с тревогой и ожиданием смотрит на нас. Как хочется нам утешить ее, обрадовать. Но мы смолкаем и прячем от мамы глаза, как будто виноваты в том, что с фронта нет писем.

Утром, когда мы с Женей еще спим, мама бесшумно одевается и уходит на работу. Она оставляет нам на столе еду на весь день: несколько вареных картофелин в мундире, тонкие ломтики липкого черного хлеба и бутылку молока. С вечера мама строго-настрого наказывает нам, чтобы мы растягивали это на весь день, а не съедали в один присест. Но нам никогда не удастся приберечь хоть что-то из еды к вечеру. Пусть не в один, а в два присеста уж точно мы подбираем с братом все до крошки.

Дело идет к весне. За окном март. Днем уже капает с крыш. Мы весь день проводим у окна. Выходить на улицу не в чем. Нет ни сапог, ни ботинок, ни фуфаяк или пальто.

Иногда к нам под окно прибегает соседский Лёнька. Он похож на огородное пугало. На его ногах, обмотанных грязными тряпками, большущие резиновые галоши. Широленные рабочие брюки с отрезанными по Лёньке штанинами подпоясаны веревкой. На голове у Лёньки драная шапка, на худых плечах болтается промазученная телогрейка. Она осталась от Лёнькиного отца, который работал раньше трактористом и погиб в первый год войны.

Мы радуемся, когда Лёнька прибегает под окно. Но ему холодно. Он корчит нам рожи, что-то кричит, размахивая длинными рукавами телогрейки, поджимает то одну, то другую озябшую ногу и вскоре убегает домой. Мы остаемся одни, тоскуя по воле и лету.

Рыбалка

Долго ли, коротко ли, но время идет. Дни становятся все длиннее. Отшумел за окном апрель ручьями и хлопотливым гомоном птиц. Тянется к солнышку молодая зеленая травка. Такой же зеленой дымкой подернулись тополя и березы. Теперь нас не удержать дома. Даже голод, кажется, мучает нас теперь меньше. Мы живем на окраине города, почти по соседству с

лесом. Собираемся с ребятами шумной ватагой и отправляемся в лес. Только сейчас видно, как много живет поблизости от нашего дома девчонок и мальчишек. Повелазили с приходом тепла из своих домов, как мышки из норок.

Казалось бы, чем можно поживиться в лесу весной? Но мы каким-то чутьем безошибочно угадывали, что съедобно, что нет. Все идет в ход: молодые побеги колбы, клейкие листочки боярышника, белые «свечки» сосны, корни саранки и кандыка.

Но вот выдался ненастный хмурый день. Опять сидим дома. Женя раздобыл где-то ржавый, но настоящий рыболовный крючок и теперь мастерит удочку. Возится долго и сердится, что я торчу рядом и мешаю ему. Наконец удочка готова. Брату не терпится испытать ее в деле.

– Людашка, ты посиди немного одна, ладно? Спички не трогай, дверь никому не открывай, не реви. Я скоро, – говорит Женя, торопливо одевается и убегает.

Небо немного прояснилось. Дождь перестал. Я смотрю в окно и в ожидании брата пою песни. Моя любимая песня – «На рейде морском». Когда я слушаю ее или пою сама, меня охватывает непонятное чувство. В нем радость и ожидание чего-то огромного и светлого, и в то же время мне хочется плакать. Но брат, убегая, сказал мне «не реви», и я не реву... Уже и петь не хочется. Я прижимаюсь носом к холодному стеклу и смотрю, смотрю. Вдруг в конце улицы появляется маленькая Женина фигурка. Я вскакиваю на стул и радостно кричу: «Ура!» Плохо мне без брата. Женя мчится как ветер. Он влетает в дом запыхавшийся, возбужденный. В одной руке его удочка, а в другой – настоящая рыбка! Это ёрш, колючий и скользкий, с большим разинутым ртом.

– Где ты его взял, тебе дали? – допытываюсь я.

– Кто дал? – кричит Женька. – Дура, что ли? Сам поймал. Давай скорей воды!

Я бегу на кухню, зачерпываю из ведра ковшиком воду, спешу к брату, расплескивая воду на пол. Женя опускает рыбешку в ковшик, но она плавает на поверхности без всяких признаков жизни, животом вверх.

– Умерла, – говорю я горестно, поглаживая рыбешку пальцем.

– Ты знаешь, – взхлеб говорит Женя, – только закинул удочку, а нитку как дернет! Я как дернул – рыбина! Можно было бы знаешь сколько рыбы наловить. Но червяк-то у меня только один был. Этого-то кое-как выкопал. Холодно, они и попрятались в землю на метр, наверно, или на десять... Жалко, что умерла рыба. Была бы живая, можно было бы подкормить ее, выросла бы здоровая и жирная. Когда еще пойду рыбачить, возьму с собой банку, буду в воду рыб опускать, тогда не умрут.

Когда мама приходит с работы, я бросаюсь к ней с криком: «Мама, мама, Женя рыбу поймал!». Мама подходит к столу, смотрит на рыбу и говорит с улыбкой, снимая с головы платок:

– А сын-то у меня кормильцем растет.

Женя, счастливый, улыбается во весь рот. Я громко смеюсь и хлопаю в ладоши. Вскоре на плите в алюминиевой кружке варится уха. Несколько кусочков картошки, кружочки лука и наша «рыбина». Ухи получилось полтарелки. Нам с братом хватило. И даже мама попробовала ложки две бульона. Кажется, в жизни не ела я ничего вкусней. «Правда, Женя – кормилец», – думаю я, засыпая.

Егоровна и брусника

Напротив нашего дома, через дорогу, живет наша соседка Егоровна. Она худая и какая-то всегда хмурая на вид, даже сердитая. Нам она ничего плохого не делала никогда, но мы с братом ее немного побаиваемся, а мама, кажется, Егоровну тоже недолюбливает. Живет Егоровна совсем одна. Мама говорит, что есть у нее где-то дети и внуки, но живут далеко. Мы, например, их в глаза никогда не видели. Бабушка Егоровна очень хозяйственная и трудолюбивая. Так говорит наша мама. С утра до ночи она что-нибудь делает, копается во дворе, на огороде. Все лето таскает из леса грибы и ягоды. Солит, сушит, запасает. А зимой торгует этим добром на базаре.)

Сидим мы как-то с братом у окна и видим, как Егоровна, надрываясь от тяжести, тащит из погреба бочонок. Поставила его возле крыльца, накрыла тряпкой и потопала назад к погребу закрывать люк.

– Интересно, – говорит Женя, – что это у нее в бочонке? Огурцы, наверно.

У меня от этих слов прямо слюнки потекли и в животе что-то запищало.

– Или грузди соленые, – продолжает брат.

– Давай посмотрим, – предлагаю я шепотом.

– Егоровна тебе как посмотрит палкой по шее, так голова и отвалится, – говорит мне брат.

Я прикусила губу и замолчала. Вытянув шею, мы наблюдали за тем, как Егоровна, повозившись у погреба, направилась в свой огород и присела там над грядками, занялась прополкой. Это теперь надолго.

– Посмотрим, – решительно сказал Женька и прыгнул с подоконника на пол.

Сдерживая дыхание, мы вышли из дома и бегом направились к домику Егоровны. Подошли к крыльцу, у которого стоял бочонок. Отсюда совсем не видно ни Егоровны, ни ее огорода. Женя приподнял тряпку, прикрывавшую бочонок, и мы застыли в изумлении. Бочонок был доверху наполнен сочными, будто только что сорванными ягодами брусники. И это в начале лета, когда в лесу еще только цветет самая ранняя ягода – земляника.

– Возьмем, – сказал Женя, – по одной горсточке. Это совсем незаметно будет.

Мы набрали по горсти ягод, пригнувшись забежали за крыльцо, присели и мигом управились с брусникой. Такая вкуснятина, но как мало. Очень хочется еще! Глянули друг на друга, не сговариваясь снова побежали к бочонку. Опять набрали по горсти ягод и, спрятавшись за крыльцом, съели и их, как и в первый раз. А потом несколько раз перебежали мы от крыльца к бочонку и назад к крыльцу... Наконец стало больно щипать языки, и мы почувствовали, что не сможем больше проглотить ни одной ягодки. Прикрыв кое-как бочонок тряпкой, мы, оглядываясь и пригибаясь, побежали домой. Дома закрыли двери на крючок и в окно стали наблюдать за двором Егоровны. Спустя какое-то время старушка вышла с огорода и направилась к своему крыльцу. Вдруг она резко сорвала тряпку, прикрывавшую бочонок, заглянула в него, всплеснула руками и запричитала

что-то, качая головой. Потом беспомощно оглянулась кругом и вдруг задержала взгляд на окнах нашего дома. Мы так и скатились с подоконника.

– Может быть, она подумала, что это мы своровали у нее ягоду? – сделала я предположение.

– Не знаю, – сказал брат, притворно зевая. – Я хочу спать.

– Я тоже, – сказала я и на всякий случай тоже зевнула.

Мы забрались под одеяло и замолчали. Спать совсем не хотелось. Мы все ждали, что вот-вот придет Егоровна и начнет стучать в запертую дверь. Полежали так, полежали, а потом услышали голоса – мамин и бабушки Егоровны.

– Почему вы подумали, что это сделали мои дети? – говорила мама. – Только потому, что мы живем с вами по соседству? Там же, наверное, ягод с полведра выбрано. Разве они столько съедят? А для того чтобы украсть и спрятать, они еще слишком маленькие. И вообще, знаете, не пойманный – не вор. Мои дети, я уверена, ничего не возьмут без разрешения, с голоду умрут, а не возьмут.

Что-то в ответ пробормотала Егоровна, но мама не ответила ей и быстро взбежала на крыльцо. Женя бросился открывать ей дверь.

– Спали, маленькие? – с нежностью в голосе спросила она.

– Мамочка пришла, – фальшиво-радостным голосом запищала я.

Мама зажгла керосиновую лампу и повернулась к нам. Ласковое выражение сразу исчезло с ее лица. Мама вдруг очень строгим голосом спросила:

– Вы сегодня брали у Егоровны бруснику?

– Нет. Какую бруснику? – спросил удивленно Женя.

– Не брали мы никакую бруснику, – сказала и я. – Зачем она нам? Такая кислая, фу! А Егоровна думает, что брали... А не пойманный – не вор. Да, мама?

Мама вдруг страшно покраснела.

– Ах вы дряни! – закричала она. – Ну-ка посмотрите друг на друга!

Мы посмотрели и опустили глаза.

– Значит, вы не воры? А это что?!

Мама ткнула пальцем в наши руки. И только тут мы замети-

ли, что они перемазаны ярким соком брусники. Да и физиономии наши были не чище.

– Вот что, – сказала сурово мама, – не нужны мне детиворы. Сейчас же идите к Егоровне и просите у нее прощения. Скажите: «Простите, бабушка, нас, воров». Если она вас простит, то и я прощу, а если нет, можете убираться из дома куда глаза глядят. Не хочу я вас больше знать.

Мама замолчала и отвернулась. А нам стало очень страшно. В полной тишине, сгорбившись, поплелись мы к Егоровне. Увидев нас, она даже рот приоткрыла от удивления.

– Бабушка, – сказал Женя, опустив глаза и втянув голову в плечи, – простите нас.

– Простите нас, воров, – сказала я. – Мы больше не будем воровать. Простите, а то мама нам велит уйти из дома куда глаза глядят.

Я не выдержала и заревела. Егоровна тяжело вздохнула, взяла нас за руки и повела домой, к маме.

– Не стыдно тебе, Вера? – сказала она нашей маме. – Изза какой-то несчастной брусники душу детям терзать? Ишь ты, «куда глаза глядят»... А уйдут, тогда что запоешь? Полно, полно реветь, – говорила старуха почти ласково, глядя меня шершавой рукой по голове. – Бабка старая, дурная. Нет чтоб самой угостить детишек, они бы и не полезли в бочонок. А то, вишь, неприятности какие.

Егоровна ушла. Мама принялась отмывать нас от брусничного сока. А я в тот вечер дала себе слово никогда, никогда в жизни не брать ничего чужого.

Счастье и несчастье

Воскресенье. Сегодня мама дома. Это такое счастье – проснуться утром и смотреть на маму, знать, что она целый день проведет с нами. Обязательно придумает что-нибудь интересное. И поест что-нибудь повкуснее приготовит.

Я лежу в постели и смотрю, как проворно снуют мамины руки: она шьет что-то яркое-яркое. Оранжевое, как солнышко.

– Встала, доченька? Ну-ка примерь.

Я вскакиваю с кровати и бегу к маме по прохладному чисто

вымытому полу. Мама надевает на меня обновку. Я смеюсь от счастья и кружусь. Платьце вздувается вокруг меня колоколом. Мама подхватывает меня на руки и целует.

– Красавица ты моя! Вчера в депо по метру ситца выдали тем, у кого дети есть. Думала, не хватит на платье тебе. Нет, получилось в самый раз, тютельница в тютельница. Слава богу!

Женька у нас засоня. Я почти всегда просыпаюсь раньше него. Мама ласково зовет:

– Женик, вставай!

Женька недовольно хмурится, чмокает во сне губами, но вдруг мигом просыпается и садится в постели.

– Мама, почему раньше не разбудила?

Воскресенье, когда мама дома, нам хочется растянуть как можно дольше. И мы просим маму будить нас в воскресенье пораньше.

– Сегодня пойдем в лес, – объявляет нам мама.

Мы с братом радостно хлопаем в ладоши и скачем по комнате. А после завтрака отправляемся в лес. За земляничкой. Вокруг стоит гул. Стрекохут в траве кузнечики, на болоте пронзительно кричат какие-то птицы. Воздух напоен ароматом цветущего разнотравья. А вот и наша земляничная поляна. Ягод много. Приподнимаешь веточки, и перезревшие земляничины сами падают в подставленную ладошку.

Солнце поднимается высоко над головой, и мама говорит:

– Давайте посидим, отдохнем немного, и – домой.

Мы садимся прямо на траву и ссыпаем ягоды в мамин бидончик. У Жени почти полная кружка земляники, у меня – меньше половины. Я тайком вздыхаю. А мама смеется подбадривающе:

– Вот так мы, спасибо нам! Чуть не полный бидон ягод набрали. Трое – не один, спуску не дадим.

Мама вынимает из кармана завернутый в бумагу хлеб. Три тонких ломтика. Мы сидим и едим землянику с хлебом. Очень вкусно!

– А что мы сегодня на обед сварим? – спрашивает у нас дома мама и выжидающе улыбается. – Никто не догадался? Картошечка уже подросла. Егоровна вчера подкапывала, говорит, что клубеньки с яичный желток, а есть и покрупнее.

Втроем идем в огород, и мама выдергивает с грядки несколько корешков моркови, срывает три или четыре свекольных листа, пучок зеленого лука. А потом, осторожно подкапывая землю у кустов картофеля, нащупывает в земле и отрывает с десяток розовых картошечек. Из них, а еще из листьев моркови, свеклы и зеленого лука мама сварит зеленый суп – ботвинью. Так называет это блюдо Егоровна. Ботвинья – это такая вкуснятина! Ешь, ешь и еще хочется.

После обеда к нам заглядывает Егоровна.

– Ох, дети, дети, – говорит она со вздохом, – гляди за ними да гляди. Слыхали, с десятой улицы девчонка пяти лет в торфяной яме утопла?

У мамы испуганные глаза.

– Нет, ничего мы не слышали. Когда это случилось, господи?

– Вчера. Сегодня уж вытащили... Твои-то цельными днями без присмотру. Ты накажи им, чтоб к яме и близко не подходили. Глубина там о-ё-ёй! – Обернувшись к нам, Егоровна пугает: – Там в воде выдра живет. Подойдете близко, схватит и утащит под воду.

– А какая она, выдра? – спрашивает старушку Женька с загоревшимися от любопытства глазами.

– Да какая? – пожимает в раздумье плечами Егоровна. – Лохматая, как собака. А морда, как у лисы, хитрая.

Мы с мамой моем посуду. А брат убегает на улицу. Потом мы идем в огород полоть грядки.

– Где Женя? – спрашивает мама. – Нет чтоб помочь, бегают где-то.

– Он с Лёнькой носился, я видела, – говорю я.

И в это время в нашу калитку, запыхавшись от быстрого бега, влетает легкий на помине Лёнька.

– Теть Вер, – кричит он, подпрыгивая на месте, – ваш Женька, наверно, уже утонул!

Мама выпрямляется и страшно бледнеет. Руки ее безвольно опускаются. Мне кажется, что она сейчас упадет. Но она отрывисто спрашивает:

– Где он?

– В торфяной яме, – поясняет Лёнька.

Мама срывается с места, выбегает за калитку и мчится по улице так, что мы с Лёнькой остаемся позади.

Торфяная яма недалеко. Нужно пробежать два квартала, потом спуститься с пригорка вниз. Там начинается торфяное болото. Яму вырыли года три назад, когда в засушливый год на болоте не было воды. Жители ближних улиц резали торф кубиками размером с кирпич и сушили его на солнце для топки печей. Долго и жарко горит сухой торф. Но два года подряд лето стоит дождливое, и яма почти до краев наполнена темно-коричневой водой.

Когда мы с Лёнкой подбежали к яме, Женя голый стоял около мамы и, прижав руки к груди, прыгал то на одной, то на другой ноге и тряс головой, чтобы из ушей вытекла вода. Весь он до макушки был мокрый и грязный, и все его тело и голова были покрыты коричневыми торфинками.

– Ну как ты мог? Зачем? – спрашивала Женю мама, вытирая слезы.

– А что она врет? – хмуро сказал Женя, сплевывая коричневую слюну, и гнусаво передразнил Егоровну: «Выдра, выдра...» Никакой выдры там нет. Я нырял, нырял...

Ну, все понятно. Мой брат нырял и искал в яме выдру, о которой говорила Егоровна. Вот только из ямы выбраться сам не смог. Стоило Женке ухватиться за край ямы, как куски торфа обламывались и оставались в его руках. И так много раз, пока не прибежала мама и не вытащила Женю из ямы. Спасибо Лёнке, что вовремя позвал маму на помощь. А если бы не он... И подумать страшно, что могло случиться с нашим Женечкой.

Изобретатели

В последнее время мальчишки, Женя и Лёнка, что-то много шепчутся. Часто, оставив меня одну во дворе, они закрываются в полутемном чулане, возятся там, тихонько переговариваются, даже спорят о чем-то. Меня одолевает любопытство: что же скрывается за всем этим?

– Жень, открой, – канючу я у двери чулана. – Я маме скажу, что ты со мной не играешь, будет тебе.

– Давай откроем, – со злостью говорит брат. – Все равно эта рыжая не отстанет.

Я пропускаю мимо ушей оскорбление и жду, когда откроют

дверь. Мальчишки откидывают крючок, распахивают перед моим носом дверь и извлекают из чулана на белый свет странные вещи: в руках у Лёньки старый зонтик его матери, а у Жени – широченная юбка нашей мамы, которая называется клёш-солнце. У пояса юбка стянута бечёвкой. По низу подола прорезаны дырочки и в них тоже продеты веревочки. Я разочарованно разглядываю все это и со злорадством говорю брату:

– Ну, все. Попадет тебе от мамы за юбку. Вот увидишь.

Мальчишки сосредоточенно молчат. По старой шаткой лестнице они взбираются на крышу нашего дома и враз прыгают вниз. У Лёньки в руках зонтик, на голову Жени накинута мамина юбка. Я толком не успеваю ничего разглядеть, только понимаю, что парашюты не раскрылись. Слышу дикий вопль катающегося по земле Лёньки. Женя стоит рядом и молча размазывает ладошкой по лицу грязь и кровь. Мне кажется, что сейчас оба они умрут на моих глазах. Я кричу что есть сил. На шум из своего дворика выбегает Егоровна.

– Ах вы ироды, ироды, – причитает она, горестно качая головой.

Женя, путаясь в маминой юбке, улепетывает домой, а Лёнька сидит на земле, поджав под себя грязные босые ноги, и сипло воет.

– Рука, ой рука! – ревет Лёнька.

Егоровна вытирает своим передником чумазое заплаканное Лёнькино лицо и пытается прикоснуться к его руке. Но Лёнька опять испускает дикий вопль. Егоровна поднимает Лёньку с земли, цепко берет его за здоровую руку и куда-то уводит.

Мама, придя с работы, горестно вздыхает, глядя на распухший Женькин нос и испорченную юбку. Она не ругается. Кажется, у нее на это просто нет сил. Тихо сидит мама на стуле, устало вытянув ноги в заштопанных чулках и старых туфлях. Женька, целый день ждавший грозы, тихонько подходит к маме и, уткнувшись лицом в ее плечо, плачет, содрогаясь от беззвучных рыданий. Мама ничего не говорит ему, не утешает, а только склоняет лицо к давно не стриженной макушке Женьки и закрывает глаза. А я вижу, как из-под ее опущенных век скатываются по щекам слезы. Я сижу напротив них в углу на полу и изо всех сил стараюсь не зареветь. Но не могу сдержаться из-за

острой жалости к себе, маме, Женьке. Слезы щиплют веки, нос, ползут по моим щекам и капают на платье, оставляя мокрые темные пятна. Вот такой получился у нас вечер тихого плача.

Наконец мама поднимается со стула, берет нас за руки, ведет к умывальнику, моет прохладной водой наши зареванные физиономии, ополаскивает свое лицо. Молча ужинаем, молча ложимся в постель.

– Спице, маленькие, – говорит мама и целует нас.

Я и вправду чувствую себя маленькой-маленькой, совсем невесомой. Кровать начинает покачиваться из стороны в сторону, плавно кружиться, и все проваливается куда-то в бездну.

Письмо

Просыпаюсь я, когда мамы, как всегда, уже нет дома. На столе завтрак и обед для нас с Женей. Солнце вовсю заливает комнату. Брат спит, посапывая распухшим носом. Я натягиваю платице и выхожу на улицу. Сажусь на лавочку у калитки и долго неподвижно сижу. По улице идет почтальон. Я не обращаю на него внимания. Мы уже устали ждать писем с фронта. И вдруг он сворачивает к нашему дому... Письмо!

Я вбегаю в комнату, где спит Женя, и кричу что есть сил:

– Вставай! Письмо!

Женя смотрит на меня полусонными глазами, но тут же срывается с постели.

– Ура-а! Письмо! – вопит он нечеловеческим голосом. Хватает подушку и швыряет в меня. Я отвечаю ему тем же. Мы носимся по дому как сто чертей, тузим друг друга кулаками и орем дурными голосами.

В дверях вырастает неподвижная фигура Егоровны. Она молча смотрит на нас и медленно качает головой. Мы застываем с открытыми ртами.

– Эх вы, – говорит старушка, – мать встала чуть свет, прибрала дом, полы вон помыла. До ночи у станка толкётся. А вы... Ишь чего натворили. Такой содом учинили, я уж думала, пожар у вас, спаси господи, или еще что приключилось... Нету в вас совести.

Я чувствую, как краска стыда заливает мое лицо.

– Письмо, – говорю я хриплым голосом, протягивая Егоровне конверт.

– Письмо? От отца, должно. Ну, слава богу, дождались. Положите его на стол, а то на радостях, чего доброго, в клочки изорвете. Да приберите в избе-то. Матери без этого делов хватает.

Егоровна уходит. Мы с братом принимаемся за уборку. Застылаем постель, расставляем стулья. Я подметаю пол, крыльцо и даже двор. Чувствую страшный прилив голода. Мы молниеносно съедаем «завтрак» – по кусочку хлеба, картофелинке и стакану киселя. Кажется, что после этого есть хочется еще сильнее. На столе стоит «обед»: два кусочка хлеба, четыре картофелины и пол-литра молока. Я не отрываясь смотрю на «обед», глотаю слюну и вздыхаю при мысли о том, что мама запрещает нам прикасаться утром к обеденной порции. Мы стараемся честно выполнить ее приказ. Но сейчас и Женя тоже не отходит от стола.

– Давай, – предлагает он, – съедим хлеб. На обед и картошки с молоком хватит.

– Конечно, хватит, – говорю я с радостью.

Мы съедаем хлеб. Потом по одной картофелине. Потом еще по одной. И наконец запиваем все это молоком. В бутылке молока остается на самом доньшке, не больше полстакана.

– Фу, теперь я до самой ночи не захочу есть, – отдувается Женя.

– А я могу теперь три дня не есть! – говорю я.

– А я – десять дней.

– А я – миллион.

– А я – сиксиллион! – кричит Женька.

После этой загадочной цифры я замолкаю, так как не могу придумать ничего более огромного. Мы выбегаем на улицу, ощущая в желудках приятную тяжесть. Но проходит час-другой, время приближается к обеду, и я снова чувствую сильный голод. У брата тоже падает настроение. Мы идем домой, выпиваем по глотку молока. Заглядываем в стол, в шкафчик с посудой. Ничего съестного нигде нет. Только соль в солонке. Женя кладет в рот кристаллик соли и сосет его.

– Попробуй, – говорит он мне, – совсем есть неохота.

Я пробую и выплевываю соль на пол. Противно. И еще сильнее хочется есть.

Счастливый день

В это время за окном раздаётся крик: «Женька-а!». Мы выбегаем на крыльцо. Во дворе стоит Лёнька. Одна рука у него забинтована и в согнутом положении подвешена на груди.

– Ты чо? – спрашивает Женя, удивленно тараща глаза.

– Чо, чо? – передразнивает его Лёнька, сплевывая через дырку на месте выпавшего зуба. – Руку сломал, вот чо. Врач хотел совсем отрезать, потом оставил.

Я в ужасе прикусываю губу и сажусь на траву, глядя на Лёньку.

– Вот, нате, – говорит Лёнька и протягивает нам горсть сухарей.

Мы подлетаем к нему.

– Где взял? – спрашивает Женя.

– Заработал, – солидно отвечает Лёнька. – На воинской солдаты дали.

– Ты побирался? – спрашиваю я Лёньку и грызу сухарь.

– Дура, – говорит обиженно Лёнька и больше не обращает на меня внимания.

– Слушай, у меня сейчас рука болит, – обращается он к Жене, – пойдем со мной, помогать будешь. Нажремся, во! – Лёнька проводит рукой по подбородку. – Ты на руках ходить умеешь?

– Нет, – говорит Женя.

– Плохо, – вздыхает Лёнька. – Эх, если бы не рука... А что ты умеешь?

– Ну как что? – спрашивает Женя, беспомощно оглядываясь на меня.

– Ну понимаешь, – говорит Лёнька с видом опытного человека, – я хожу на воинскую площадку. Перед солдатами выступаю, как артист. Песни пою, на руках хожу. Они мне всё и дают. Раненые едут домой или из дома там. Каждый день целые поезда. Знаешь, как дают? Во! Сам наемся и домой еще приношу.

Мать у Лёньки лежит больная. От голода у нее распухли ноги. Она совсем не встает. Еще у Лёньки есть три сестры. Старшая работает в детсаду, средняя у соседей в няньках живет, а маленькая Валя с матерью дома. Ей три года, но она не ходит. Когда зайдешь к ним, Валя пытается поднять голову от грязной подушки и

не может. У нее такая тонкая шея, что кажется: поднимет она голову – и шея переломится. Мне делается страшно, и я убегаю от них.

И вот мы идем на воинскую площадку. Так называется платформа, где останавливаются поезда с солдатами. Мы часто бегаем на воинскую. Тайком, не сговариваясь, ищем глазами отца. Столько военных едет мимо нас каждый день. Очень ведь может быть, что поедет в вагоне и папа. Я не помню его. Мне было всего десять месяцев, когда отца взяли в армию, оттуда направили в военное училище, а из училища он лейтенантом ушел на фронт. Сейчас он капитан. У него уже два ранения, один орден и две медали. Я не помню его, но часто разглядываю фотографию, которую он прислал с фронта. И каждый раз, когда мы бежим на воинскую площадку, я втайне надеюсь, что увижу отца в окне вагона и первая, раньше Жени, узнаю его и крикну: «Папа!» И он узнает меня, выбежит из вагона, подхватит на руки и поднимет высоко над головой.

– Провозишься теперь с этой рукой, – ворчит Лёнька. – С одной много не рассчитаешь. Петь придется. Ты петь-то хоть умеешь? – спрашивает он Женю.

– Не знаю, – говорит, краснея, Женя, хотя поет он часто и много. Мама говорит, что у него певческий талант.

– Ну-ка спой! – командует Лёнька.

– Где, здесь? – пугается Женя.

– А чо, тебе сцену подать? Давай, пой.

Мы останавливаемся, и Женя заводит вполголоса какую-то песню. Лёнька слушает, морщит лоб и говорит:

– Ладно, пойдет. Только голос у тебя какой-то писклявый. Ты хоть громче пой.

Проходим шага два-три, и Лёнька останавливается.

– Ну-ка – ты, – кивает он мне.

От волнения у меня перехватывает дыхание.

– Я стихотворения знаю, – говорю я.

– Давай! – с серьезным видом командует Лёнька.

– «Бедный маленький верблюд...» – начинаю я.

Но Лёнька вдруг откидывает голову назад, хохочет и кричит, кривляясь: «Люда-блюда, съешь верблюда!»

На моих глазах выступают слезы. Женя, сжав кулаки, подсакивает к Лёньке и кричит звонким голосом:

– Ну ты!

– Да я ничо, – отступает Лёнька. – Пошли!

Вот и воинская площадка. Стоит эшелон. Открыты двери теплушек. Одни солдаты сидят или даже лежат на полу вагонов, другие снуют по перрону, спешат с котелками за кипятком к водогрейке.

Лёнька проходит вдоль состава раз-другой. Потом останавливается перед одним вагоном, где особенно много солдат сидит в дверях, свесив вниз ноги.

– Товарищи бойцы, – громко кричит Лёнька, – щас мы для вас покажем концерт.

Мне становится страшно стыдно. Я прячусь за спину брата и вижу его затылок и красные, как лепестки мака, уши. Слушаю, как Лёнька фальшиво поет, вернее, говорит нараспев какие-то веселые фронтовые частушки. Потом затягивает «жалостную» песню: «Кавой-та, кавой-та из нас не станет, кавой-та поезд увезет...» Допев до конца, Лёнька замолкает, оглядываясь на нас. Бойцы подталкивают друг друга, подмигивают, хмыкают и, не выдерживая, громко смеются.

– А щас вот он, – объявляет Лёнька и толкает Женю рукой в бок.

Бойцы смолкают, пряча усмешки. Женя молчит, опустив голову. Лицо его пылает, пальцами босой ноги он ковыряет асфальт перрона. Мне кажется, что брат или вот-вот расплачется, или повернется и убежит прочь. Но Женя вдруг поднимает голову и откидывает ее назад, сжимает за спиной руки в кулаки и запеваёт звонко-звонко, так, что слышно, наверно, на самом дальнем краю платформы: «Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди...»

И мгновенно меняются лица солдат. Кто-то опустил руку с самокруткой, не донеся ее до рта, кто-то поднялся на ноги, чтобы лучше видеть и слышать.

«Навеки умолкли веселые хлопцы...» – звенит над притихшей платформой голос моего брата. И я вижу, как стекаются к нам со всех сторон люди. Идут на костылях раненые, подходят с котелками те, что спешили за кипятком.

Женя допел песню до конца – и смотрит вокруг смелыми блестящими глазами.

– Давай, сынок, еще! – просит кто-то.

И Женя запекает новую: «На опушке леса старый дуб стоит, а под этим дубом партизан лежит. Он лежит, не дышит, он как будто спит. Золотые кудри ветер шевелит».

Женя поет и поет одну песню за другой. Наконец умолкает. Я слышу вокруг одобрительные слова. Все хвалят брата. А один пожилой солдат с рукой на перевязи, совсем как у Лёньки, опускается на корточки передо мной и спрашивает с улыбкой:

– Ну а ты – тоже с концертом?

– Я песни не умею, – говорю я тихо. – Я стихотворенья...

– Ну давай стихотворенья, – одобрительно трогает меня за плечо солдат. Все вокруг улыбаются, ждут. И я, осмелев, рассказываю про бедного маленького верблюда и про то, как уронили мишку на пол, и про Таню, уронившую в речку мячик. Все смеются и хлопают в ладоши, задние продвигаются ближе. Кто-то сует мне в руку большой кусок сахара с налипшими крошками сухарей. А солдат с перевязанной рукой вздыхает, гладит меня по голове и осторожно, боясь уколоть щетиной, целует в щеку.

Потом звучит какая-то команда, и бойцы начинают расходиться по вагонам. Мы стоим и смотрим на них. На душе радостно и грустно. Один боец из «нашего» вагона подзывает нас к себе. Втроем мы подходим к дверям вагона. Солдат выгребает из вещмешка несколько кусочков сахара и сухари. Он пытается завернуть все в обрывок газеты, но другой боец протягивает ему чистую заштопанную нижнюю рубаху. Бойцы завязывают рукавами ворот рубахи и получается короткий и широкий мешок. Солдаты торопливо выгребают из своих вещмешков сухари, куски сахара, крошки от сухарей в мешок-рубаху. Один, молодой, спрыгивает на перрон и протягивает набитую всяким добром рубаху Жене.

– Бери, брат, это тебе.

Женя краснеет.

– Не надо. Я так пел, не за сухари...

– И мы тебе так, не за песни. За твои песни сухарями не считаешься. Спасибо тебе. Расти большой!

Состав медленно трогается, и молоденький солдат уже на ходу заскакивает в вагон.

Мы стоим на платформе. У наших ног лежит раздутый мешок-рубаха. А мимо проплывает состав, и в раскрытых дверях вагонов добрые улыбающиеся лица. Бойцы машут руками. Нам машут!

Идем домой. Я бегу впереди и часто оглядываюсь, а мальчишки тащат вдвоем мешок-рубаху. Подходим к нашему дому. Дверь открыта. Мама дома! Вбегаю и бросаюсь к маме. Ее щеки горят румянцем. Мама, кажется, помолодела на сто лет.

– Мама, вот! – кричу я и разжимаю руку. На потной ладошке кусок сахара с налипшими крошками сухарей.

– Это я заработала, сама! – кричу я. – А Женя знаешь сколько заработал? Полную мешок-рубаху.

Мама ничего не понимает. Но тут входят мальчишки и втаскивают мешок. Мы рассказываем маме, перебивая друг друга, как давали концерт. И мама не сердится, а улыбается и говорит:

– Воробышки вы мои, смешные, маленькие! Ну ладно... Только не надо больше концертов давать. Хорошо?

Мама делает из газеты большой пакет и, доверху заполнив его сухарями, протягивает Лёньке. Тот спешит домой.

– Деточки, – говорит мама, – живой наш папа, нашелся!

Мы вспоминаем про письмо.

– Читай, мама, читай!

Письмо пишет не папа, а какая-то чужая тетенька, санитарка, которая ухаживает за нашим папой в госпитале. Она со слов папы пишет о том, как в бою погибли товарищи отца. Взрывом повредило оружие, а папу отбросило взрывной волной далеко в сторону, контузило и ранило осколками. Несколько месяцев он был между жизнью и смертью. Но теперь страшное позади. Папа будет жить и приедет к нам, как только совсем поправится. За этот последний бой папа получил звание майора, а еще его наградили вторым орденом.

Мы кричим: «Ура!», обнимаем и целуем маму. А потом сидим за столом и едим сухарную кашу: размоченные в теплой воде сухарные крошки с сахаром. Кажется, в жизни не ели мы ничего более вкусного. Какой сегодня счастливый день!

Мы уже собираемся ложиться спать, когда тихо входит Лёнька. Он привычно садится на порог и говорит:

– А у нас Валька померла.

Мама охает, накидывает на голову платок и убегает в Лёнькиной матери. Умерла Валя, Лёнькина сестренка с большими грустными глазами и тонкой-тонкой шеей. На другой день ее похоронили, а тетю Марусю, Лёнькину маму, увезли в больницу. Лёнька стал пропадать у нас днями и ночами.

Опять письмо

Быстро пролетело лето. Осень на дворе. Мама хлопочет в огороде. Копаем и ссыпаем в подполье картошку. Убираем свеклу и морковь. Скоро будем солить капусту. Нужно, чтобы всего в доме было много. Может быть, не сегодня завтра, как говорит мама, папу выпишут из госпиталя, и он приедет домой. Ему после болезни нужно хорошо питаться, отдыхать и поправляться. Так тоже говорит мама, так думаем и мы. Теперь нам пишет письма он сам. Письма приходят из Москвы. Туда самолетом переправили папу из прифронтового госпиталя. А сопровождала его та молоденькая санитарка, которая раньше писала нам письма за папу. Зовут ее Наташа. Теперь, когда мама пишет письма папе, она всегда передает привет Наташе.

Наступает зима со снегопадами и холодом. Женя ходит в школу. Мама на работе. А мне тоскливыми и бесконечно долгими кажутся часы ожидания брата. Женька стал другим. Совсем зазнался, что учится в школе. Без конца говорит мне: «Не мешай делать уроки. Не вертись рядом, а то подтолкнешь – и поставлю из-за тебя кляксу. Будет мне тогда от Тамары Ивановны. Вот пойдешь в школу, узнаешь, сколько там задают!»

Лёнькину маму выписали из больницы. Она теперь работает в депо смазчицей. Смазывает мазутом всякие детали. Лёнька учится с Женей в одном классе, хоть и старше его на полтора года.

Теперь мама ждет от папы письмо или телеграмму, в которых он должен сообщить, что выезжает домой. Больше полугода пролежал он в госпиталях и сам писал, что уже совсем здоров.

И вот – долгожданное письмо. Мама пришла с работы румяная, свежая. Я подбегаю к ней с письмом.

– Наверно, едет! – кричу я.

Мама торопливо разворачивает треугольник письма, начинает читать, и улыбка сходит с ее лица. Не отрываясь от письма, мама трогает рукой стул и медленно опускается на него. Я еще не знаю, что в письме, но мне делается страшно. У меня холодеет живот и бегут мурашки по ногам к подошвам. Я все смотрю, смотрю на маму и вдруг вскакиваю и заливаюсь слезами.

– Он умер, умер?! – кричу я, леденея от собственных слов.

Мама встает со стула, берет меня рукой за плечо и вдруг мягко и беззвучно оседает на пол. Мне страшно. Мама с закрытыми глазами лежит на полу. Пламя коптилки мечется из стороны в сторону. Мне кажется, что мама умерла. И Жени нет. Он допоздна катается с Лёнькой с горы. Я кричу так, что из носа начинает течь кровь. Мама тихо стонет и садится, упираясь в пол дрожащими руками. Я зажимаю обеими руками рот, стараясь удерживать плач.

– Перестань, доченька, – говорит мама, – не плачь. Он не умер. Живой папа, живой и здоровый. – И вдруг закрывает лицо руками и начинает плакать, совсем как я. Мамины плечи содрогаются от рыданий, слезы душат ее. А я уже не плачу. С недоумением я смотрю на маму. Если папа живой, все тогда хорошо. Почему же она плачет?

Прибегает с мороза Женька. И, словно его толкнули в грудь, застывает на пороге, глядя на маму. Потом обходит ее, осторожно берет со стола распечатанное письмо и, сморщив лоб и нахмутив светлые брови, долго шевелит губами.

Потом вдруг комкает письмо, в ярости швыряет его на пол, топчет ногами и кричит маме:

– Мама, встань! Зачем ты плачешь? Зачем?! Не видели мы этого папу! На черта нам этот папа нужен! Да он хуже предателя, хуже Гитлера!.. Пусть он сдохнет! Пусть подавится своей чертовой Наташей!

Совершенно обалдевшая от Женькиного крика, я сижу на полу и жду, что от таких слов на голову брата обрушится потолок или произойдет еще что-нибудь ужасное...

И только позже я узнаю, что в письме этом отец написал маме, как привык он к «сестричке» Наташе и полюбил ее. Что не представляет себе жизни без нее. Он женился на Наташе, и

они остаются жить в Москве. Детей – это нас с Женькой – он никогда не забудет и будет помогать маме деньгами.

Мама заболела. Как будто надломилось в ней что-то. Она постарела сразу на несколько лет. Тонкие морщины легли на ее лицо, стали мелко дрожать руки. А маме было в то время только двадцать девять лет. Она перестала ходить на работу и целыми днями лежала на кровати, безучастная к нам и ко всему в мире.

Приходил врач. Потом навестили маму две тети с ее работы. И одна, одеваясь в прихожей, вздохнула и сказала тихо: «Когда мне на Петра похоронку принесли, я вроде легче перенесла». А другая тихо ответила: «Да уж лучше бы похоронку».

Я пришла к маме, села возле нее на стуле и сказала, вздохнув:

– Лучше бы на папу похоронку принесли, правда, мама?

Мама ничего не ответила, закусил губу и молча заплакала.

Женя и Егоровна

Мама лежит в постели уже больше месяца. Всю работу по дому выполняет Женя: сам носит воду из колодца, ходит за хлебом и молоком, топит печку и варит картошку. И часто подолгу, не мигая, печально смотрит на пляшущие по поленьям языки пламени. И никогда ни на что не жалуется. Наоборот, как может, утешает маму. Читает мне вслух книжки. И фантазирует по вечерам. А еще строгают около печки лучинки, делает лук со стрелами. Брат рассказывает мне, что наделает много тонких гибких стрел с золотыми наконечниками и сбегит на фронт. Как только мама поправится. Выстрелит в фашиста такой стрелой, немец от нее помчится, а стрела за ним. Свернет фриц в сторону, а стрела все равно – за ним. Враг за дерево спрячется, а стрела – тоже за дерево. Догонит фашиста проклятого и прямо в сердце ему вопьется. Наделает Женя миллион стрел и перебьет ими всех-всех врагов. Война сразу кончится, и жизнь будет опять хорошая-хорошая, как до войны была. Мама купит в магазине целый килограмм ореховой халвы. Женя ел ее перед войной. Ничего нет в мире вкуснее. Он теперь не будет есть, а всю мне отдаст, потому что он уже ел халву, а я – нет.

В последнее время к нам зачастила Егоровна. Раньше она

никогда не жаловалась на одиночество. А теперь говорит, что ей скучно сидеть одной дома. Почти все вечера просиживает у нас. И приходит обычно не с пустыми руками: то огурчиков принесет или грибов соленых, то рыбу, выменянную на базаре за картошку.

– Поешь соленья, – уговаривает она маму. – От соли всякая хворь проходит. У меня Ваня-покойничек, царствие ему небесное, как выпьет, бывало, лишнего, уж так, сердешный, головой наутро мается. А поест соленья, и всю болячку как рукой снимет.

– Зачем вы, Егоровна? Не нужно, спасибо, – слабым голосом говорит мама. – Мне с вами и рассчитаться нечем.

– Какой там расчет, – сердится Егоровна. – У меня все свое, не покупное, небось. Ты с ребятами ешь да сил набирайся. Я тут вот у печки сяду на лавочке и вязать буду.

Егоровна садится на низкую скамейку, прислоняется спиной к теплой печке, достает из большого кармана латаной кофты клубок пряжи, спицы и начинает вязать.

– Бабушка, а что вы вяжете? – спрашиваю я.

– Носки сынам на фронт вяжу, – сурово отвечает старуха.

– А сколько у вас на фронте сынов? – спрашиваю я опять.

– Тыщи, – говорит Егоровна. – Новой пряжи теперь днем с огнем не сыщешь, – обращается старуха к маме, – так бабы собирают по дворам старые шерстяные вещи, распускают и вяжут носки, рукавицы. К Новому году бойцам подарки готовим. Я вот тоже шаль свою старую распустила. Пары три хороших носков выйдет.

– Сейчас наши на западе, – говорит мама. – Там больших морозов не бывает.

– Запад ли, восток ли, – несогласно ворчит Егоровна, – зима – она везде зима, свое возьмет, не спустит.

– У меня джемпер есть, – говорит мама. – Хороший еще, только на локтях протерся, я заплатки поставила. Тоже можно распустить. Возьмите.

– А чего мне его брать? Учись сама вязать. Наука немудреная, а в жизни пригодится.

На другой день Егоровна приходит опять и привычно садится у печки. Немного погодя заходят Лёнька с матерью. Тетя

Маруся садится на стул около маминой кровати и вынимает вязанье. Мама тоже полусидит, откинувшись на подушки, и тонкими пальцами неумело перебирает спицы. Все молчат, потом Егоровна говорит неторопливо:

– Вязанье – очень полезное дело. От него нервы успокаиваются. Психовать меньше будешь.

Мама слабо улыбается.

– Да хоть и не псих, – продолжает старуха, – а когда вяжешь, на душе покойно делается, легко...

– А, пропади все пропадом, – ругается вдруг она, – петлю где-то потеряла.

Мы дружно смеемся.

Дед Мороз

Перед Новым годом мама встала с кровати и робко прошлась по комнате, слабо улыбаясь нам посветлевшими глазами. Мы с братом ждали Деда Мороза. Каждый год он, невидимый, приходил к нам, непонятно как умудрялся в голодное и такое трудное военное время приносить кульки с орехами, печеньем и конфетами. И обязательно по игрушке в каждом пакетике. В прошлом году он подарил Жене игрушечный пистолет, а мне маленького плюшевого зайчонка. И всегда под окном на рыхлом снегу от окна до тропинки были отчетливо видны огромные диковинные следы Деда Мороза. И всегда оставалось загадкой для нас с братом: как ухитрялся Дедушка Мороз через закрытое окно положить на подоконник подарки. Но вообще-то ведь он – волшебник. А волшебники могут всё.

В предпраздничный день мама, еще слабая после болезни, сама пошла в магазин, а когда вернулась, послала Женю к соседям за молоком.

– И Люду с собой возьми, – сказала мама. – Тепло на улице, пусть прогуляется, а то всё дома и дома.

Мы пошли. Соседей не оказалось дома, и мы сразу же вернулись домой. Вошли в калитку и остановились в недоумении. На дорожке, спиной к нам, стояла мама. В руках она держала длинную палку, к концу которой была прикреплена большая старая плетеная корзина. Мама, пригнувшись, осторожно пере-

ставляла корзину в шахматном порядке с места на место. Дальше, дальше – от дорожки до окна.

– Мама, что ты делаешь? – окликнул маму Женя.

Мама вздрогнула, выронила палку с корзиной, оглянулась на нас и вдруг села прямо на снег, зажмурилась, покачала головой и громко рассмеялась.

– Господи, – говорила она сквозь смех, – попалась на месте преступления!

Мы подбежали к ней и все поняли: от дорожки до окна дома на рыхлом снегу четко отпечатались «следы Деда Мороза» величиною с дно большой корзины.

– Так, значит, это ты? Всегда ты? – растерянно улыбаясь, спросил у мамы Женя.

А мама, раскрасневшаяся, поздоровевшая, сидела на снегу и все еще смеялась, вытирая выступившие от смеха слезы.

– Дед Мороз, наш Дед Мороз! – закричала я, обнимая маму.

Мама поднялась, мы принялись отряхивать с нее снег и, веселые, направились к дому. Я бросилась к окошку. На подоконнике лежали два кулька с подарками.

– Нет! – закричала я, – Дед Мороз все равно есть! Он не ходит по земле и не оставляет следов. Он невидимый и летает по воздуху, как ветер. Следы – это от мамы, а подарки – от Деда Мороза. Ведь правда? – с надеждой спросила я, глядя на маму и брата.

– Конечно, правда, – сказала мама и погладила меня по голове.

– Правда, правда, – поддержал маму Женя. И они обменялись с мамой улыбками.

Победа

Прошла и эта зима. Мама уже давно совсем поправилась и снова работала. А Женя по вечерам все делал свои стрелы и собирался бежать на фронт, как только закончится учебный год.

Но учебный год еще не кончился, когда в дом прямо среди дня ворвалась наша мама и, смеющаяся, подхватила нас сразу обоих и закружила по комнате.

– Милые мои, родненькие, победа! Кончилась война! Победа!

Мы ждали этого дня, знали, что он вот-вот наступит. Но сейчас весть о победе показалась нам такой неожиданной, переполнила наши сердца счастьем, радостью, восторгом. Дом наш не мог вместить эту радость. Мама торопливо переоделась в свое единственное сохранившееся с довоенного времени шелковое платье. А мы с Женей выскочили на крыльцо в чем до этого носились по улице. С городской площади доносились звуки праздничных маршей, гремевших из громкоговорителей.

Мы помчались на площадь. Со всех улиц сюда спешил народ. Чужие, незнакомые люди обнимались, смеялись и плакали. Под звуки гармошки плясали девушки. Всюду носились возбужденные мальчишки. А репродуктор взволнованным торжественным голосом Левитана говорил о самом великом и долгожданном событии – победе нашего народа над жестоким и злобным врагом.

Шла весна сорок пятого года. Высыхали последние лужи. Солнце щедро заливало истомившуюся по теплу землю. Все наши соседи и мы тоже принялись копать огороды. Птицы прыгали по перекопанной земле, выискивая червей. На полянах пробивалась молодая зеленая трава. И время залечивало раны, нанесенные войной.

Мы еще долго бегали с Женей на воинскую площадку. С запада шли и шли эшелоны с солдатами, которые возвращались к себе домой, к мирному труду.

Негодились Женькины стрелы. Кончилась война.



ДОЛГОЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

1

Зима длинная-длинная, просто бесконечная. То морозы, то метели, когда в лицо летит противный снег, обжигая лоб и щеки холодом. Даже на улицу выходить не хочется.

Но вдруг в один из зимних дней с самого утра комнату зальет солнечный свет. Снег засверкает так ослепительно, что на него невозможно станет смотреть. И повиснет на краю крыши первая сосулька, и на крыльцо закапают капель. Это ненадолго. Будет еще холодно и метельно, но всё же это первое теплое дыхание весны.

Сначала весна приходит на завалинку нашего дома. Возле стены, с южной стороны, начинает темнеть и оседать снег. Он становится мокрым, серым, и наконец под ним обнажается полоска земли. Сюда, прыгая по кочкам оттаявшей золы, спешат суетливые куры. Голосисто, как умеет только весной, заливаются петух.

Потеснив недовольных кур, мы с Женей все дни проводим на завалинке. Брат мастерит из лучинок и папиросной бумаги самолетики. А я неподалеку от него раскладываю на старом мамином платке черепки от битой посуды. Из золы и опилок готовлю «обед» и угощаю свою старую, с облупленными щеками, куклу Олю.

Дни становятся всё длиннее и теплее. Снег прячется от солнечных лучей, жмется к стене сарая, к заборам. Но скоро и ему придет конец. И наступит золотое, теплое, долгожданное лето.

Я считаю, что мне очень повезло этой зимой. У меня появилась подруга. На нашей улице во всех соседних домах были до этой зимы одни мальчишки. В соседней избушке жил Лёнька, через два дома от нас – одноклассник моего брата Костя Ильин, с которым Женя в последнее время крепко подружился. Дальше по улице – Лузины и Спиридоновы, у которых одни пацаны.

Мне поневоле, если соглашались мальчишки, приходилось участвовать в их шумных играх или сидеть в сторонке и наблюдать за ходом их боев, если меня в игру не принимали.

И вот этой зимой нашей соседке – бабушке Егоровне – ее дочь Лида привезла «на время» своих ребятишек – пятилетнего толстяка Вовку и Катю. Кате было, как и мне, семь лет. Она сразу очень мне понравилась, и мы подружились.

Зимой в холодные дни я, прихватив с собой самое для меня дорогое – тряпичные лоскутки, единственную куклу да книжки со стихами Корнея Чуковского и Барто, отправлялась к Кате. Мы забирались на широкую и всегда теплую русскую печь и часами играли на ней.

Книжки свои я знала наизусть.

– Почитай! – просил меня Вовка.

Я откладывала куклу, брала в руки книгу и читала по памяти «Тараканище», «Мойдодыра» и «Доктора Айболита».

А Катя любила, когда я рассказывала сказки. Сказок я знала много от мамы. Подружке больше других нравились три: про Хаврошечку, про двенадцать лебедей и их сестру – прекрасную принцессу, да еще про Золушку.

Вовка слушать сказки не любил. Он ползал на коленках по полу и толкал впереди себя низенькую скамеечку бабушки Егоровны. Он гудел, урчал, шипел, изображая автомобиль.

Это было зимой. А сейчас, когда наступила весна и земля согрелась на солнце, дом кажется нам мрачным, а печка, которую теперь топят только изредка, стоит холодная и неудобная. Поэтому мы охотнее играем на завалинке.

Натянули с Катей вдоль стены дома толстую крепкую нитку и развесили на ней выстиранное белье: носовой платок, платя куклы Оли, несколько разноцветных лоскутков. Жаль, маловато у нас белья. Нитка длинная, можно было бы и еще что-нибудь повесить, да нечего.

Женя возится со своими самолетиками. Из-за угла появляется Костя.

– Ну как, получается? – спрашивает он у Жени.

– Моторчик никак не могу укрепить, – отвечает Женя, наморщив лоб.

– Давай помогу, – предлагает Костя.

Мальчишки возятся с лучинками, какими-то катушками. Это неинтересно. То ли дело наша с Катей игра в «дом». Моя подружка вдруг говорит:

– Люда, подожди, я сейчас! – и убегает к себе домой.

Вскоре она возвращается со стопкой разноцветных лоскутков.

– Какая прелесть! – восхищаюсь я. – Где ты взяла?

– Пойдем, покажу, – шепчет мне Катя.

Катина бабушка возится в кухне. Подружка тянет меня к печке. Забираемся по лесенке наверх. Катя показывает мне большое лоскутное одеяло на вате. Бабушка накрывалась им зимой, а сейчас за ненадобностью положила в угол на печку. Каких только лоскутков здесь нет: и в клеточку, и в горошек, и цветастые. Но особенно мне нравятся лоскутки, на которых изображены голубое небо и зеленая пальма. Настоящая маленькая картина.

– Вот, вырезай себе какие хочешь, – шепчет Катя и протягивает мне ножницы.

– А можно? – так же шепотом спрашиваю я.

– Конечно, можно. Ты же видела, какую кучу я навыврезала.

– Что-то они там секретничают? – доносится до нас ласковый голос Егоровны. – А Вовик где?

– На улице, – кричит Катя бабушке.

А я вырезаю лоскутки. Всякие, по одному. А в первую очередь – с голубым небом и пальмой.

– Ну-ка, идите чаю попейте, – зовет нас Егоровна.

Я оглядываюсь на нее, ножницы выскользывают из моих рук и падают на пол. Бабушка подходит и поднимает ножницы.

– Вы что там режете? – спрашивает она строгим голосом. Мы молчим. Катя торопливо оттаскивает одеяло в угол и делает мне странные гримасы. Она морщится, трясет головой, прикусив нижнюю губу, и вообще ведет себя непонятно. А бабушка уже стоит на ступеньке лесенки. Ахнув, она берет в руку несколько лоскутков, лежащих возле меня.

– Что же вы делаете? Есть у вас совесть или нет? Я три года доскутья на это одеяло собирала, а вы...

Бабушка так расстроена, что мне становится жаль ее. И еще меня мучает страх, что Егоровна пожалуется на меня маме. Сквозь слезы смотрю я на лоскутки, на испорченное одеяло. Ясно, что нет у нас с Катей никакой совести. Вздыхая и что-то бормоча, бабушка гремит посудой, а мы тихонько слазим с печи и пробираемся к выходу.

– Когда вы только душу из меня выматывать перестанете? – громко говорит Егоровна и шлепает Катю какой-то тряпкой.

Мы выскакиваем на крыльцо.

– Больно? – с сочувствием спрашиваю я.

– Ни капельки! – почти весело отвечает Катя. – Это даже хорошо, что баба меня ударила. Теперь она будет жалеть меня и про одеяло свое забудет. Еще вечером подлизываться станет. Скажет, что зря меня обидела, что и так мы с Вовкой без отца, без матери, как сиротиночки какие-то... А если бы не ударила, то потом бы весь вечер говорила, что мы из нее выматываем душу, портим ей нервы, сводим в могилу и вгоняем в гроб.

Катя смеется, и мы бежим на нашу завалинку.

4

У весны свои запахи. Это запах просыхающей под солнцем земли, клейких тополиных почек, а еще – запах костров. Люди собирают в кучи сухие прошлогодние листья, траву, картофельную ботву и все это сжигают.

Так весело стоять в вечерних сумерках около костра. Огонь то робко перебегает по веточкам и травинкам, то вдруг ярко вспыхивает. Я отступаю от костра, потому что становится жарко лицу.

Чем ярче пламя костра, тем темнее становится вокруг. Женя

незаметно от мамы сует в огонь конец палки, а потом машет ею вверх, вниз, в стороны. В темноте светящийся конец палки вычерчивает зигзаги.

А еще в костре хорошо печь картошку. Сверху картофелины обугливаются до черноты. Если картошину откатить прутиком подальше от костра и стукнуть по ней ребром ладони, как это делает Костя, то подгоревшая кожура лопнет, как скорлупа ореха. Необыкновенно вкусной кажется печеная картошка. Не обращаешь внимания ни на то, что она обжигает пальцы и губы, ни на то, что самая середочка еще не пропеклась.

Всегда немножко грустно расставаться с костром, смотреть, как последние робкие искры вспыхивают то здесь, то там. Потом еще долго ветер будет доносить с огорода запах костра, пока обильный ливень не размочит бывшее кострище.

5

Летом хорошо. Летом просто замечательно. Можно целыми днями носиться по улице, и это нисколько не надоедает. Мы-то носимся без дела. А вот соседского Лёньку его мама, тетя Маруся, определила в подпаски.

– Пусть хоть на штаны себе за лето заработает, – сказала она моей маме, – да и кусок хлеба каждый день подпаску обеспечен.

Мы уже знаем, что одним куском хлеба тут дело не обходится. Каждое утро одна из хозяек коров – кому очередь подошла – выносит пастуху и подпаску дневной паек: бутылку молока, заткнутую пробкой, свернутой из газеты, а еще – вареные яйца, пучок зеленого лука, ну и кусок хлеба, конечно. Большой кусок, на двоих. Иногда пастухам перепадают от женщин румяные, с поджаристой корочкой пироги. Но это редко.

Лёнька деловито складывает съестное в холщовую сумку на ляжке, перекинутой через плечо, щелкает длинным бичом и, погоняя коров, ругается плохими словами. Стыдно слушать его. Но что тут поделаешь? Лёнька теперь работает, он все равно что взрослый, а они почти все вот так ругаются.

Мы провожаем Лёньку завистливыми глазами. Иногда, если в сумке нашего приятеля оказывается что-нибудь вкусное, вро-

де пирожков, к нему подходит Вовка и с хитрой улыбкой на розовой круглой физиономии говорит:

– Кто подаст, тот золотой глаз, кто не даст, тот поганый глаз.

– Я щас подам кому-то, – скрывая усмешку, с нарочитой угрозой в голосе говорит Лёнька и берется за бич.

Вовка отбегаёт в сторону и кричит, кривляясь:

– Жадина, жадина. Жадина-говядина.

Теперь Лёнька злится всерьез. Но тут появляется Катя и, закрывая собой брата от Лёньки, выговаривает Вовке:

– Тебе не стыдно попрошайничать? Я вот скажу бабуле, она тебе задаст.

– Мне просто Лёньку жалко, – говорит Вовка. – Обожрется и лопнет, жадина.

Лёнька плетется за стадом, покрикивает на коров и пощелкивает бичом. Я смотрю ему вслед, и мне тоже хочется быть мальчишкой, работать подпаском, носить сумку с «харчами» на ляжке и оглушительно щёлкать бичом... Я бы получила за работу много денег и накупила бы целую кучу пряников и конфет. Угостила бы всех ребят с нашей улицы. А еще бы красивую новую кофту маме купила, розовую, с мелкими желтыми цветочками, какую видела на одной тетеньке в магазине. А то у мамы очень уж старая кофта. А еще бы...

Но тут появляются Женя и Костя, и я не успеваю придумать, на что еще можно было бы потратить заработанные деньги.

– Эй, – зовет нас всех – меня, Катю, Вовку – Костя. – Пойдете на лысую гору?

Почему эту горку лысой прозвали? Конечно, ни кустов, ни деревьев на ней нет, но зато вся она покрыта шелковистой травой, очень похожей на зеленые волосы. А еще в этой траве розовеют крупные цветки клевера, на которых копошатся мохнатые шмели.

Небо бездонное и голубое, с редкими белоснежными облаками. Воздух тоже кажется голубоватым. Если смотреть вдаль на темную гребенку леса, видно, как дрожит и колеблется этот легкий голубоватый воздух, поднимаясь теплыми струями вверх, к солнцу.

Мы стоим на вершине лысой горы.

– Ну, давайте, покатались! – командует Костя.

Расходимся в разные стороны, ложимся на краю склона и, перевертываясь с боку на бок, катимся вниз, подминая под себя прохладную траву. В глазах мелькает голубое-зеленое, зеленое-голубое. В конце спуска склон становится совсем пологим. Движение замедляется. Мы замираем и некоторое время лежим на спинах, раскинув в стороны руки, смотрим в небо. Легкие белые облака медленно плывут по безбрежному голубому океану. Они принимают самые причудливые формы. Одни из них похожи на диковинных животных, другие – на птиц или головы людей.

Жарко, и хочется пить. Но чистой воды поблизости нет. Рядом, в конце склона, болото, заросшее сочной осокой. Но вода на болоте рыжая с разноцветной радужной пленкой. Наша мама говорит, что под этим болотом находится, может быть, месторождение железной руды или нефти. А может быть, того и другого вместе.

6

Костя садится, опираясь о землю ладонями, и тихонько присвистывает.

– Братцы, – говорит он, – смотрите!

Мы смотрим, куда указывает Костя, и видим обыкновенную корову. Она лежит на траве и в глубокой задумчивости жует жвачку.

– Вот бы молочка сейчас... – говорит мечтательно Костя. – Доить кто-нибудь умеет?

– А что тут уметь? – поднимается на ноги Женя. – Я видел сколько раз, как доят. Только подоюника-то у нас нету.

– Банку бы какую-нибудь найти, – Костя колесит по поляне. Но никаких банок на ней нет.

– Ну-ка, Вовка, – командует Женя, – давай свою фуражку!

– Не дам, – Вовка обеими руками натягивает на лоб и уши большую форменную железнодорожную фуражку, с которой не расстается даже в жару.

– Жмотты, Вовка, – Женя презрительно сплевывает сквозь зубы. – Для всех какую-то дурацкую фуражку пожалел. А молоко пить, наверно, первый бы кинулся... И фуражке твоей ничего бы не сделалось.

Вовка сопит, стягивает с головы фуражку и бросает на траву. Женя поднимает ее и идет к корове. Он обходит корову один раз, другой.

– Чо, струсил, что ли? – спрашивает Костя с явным раздражением.

– Да я не могу титьки найти, она их прижала, – говорит Женя.

Мальчишки подходят вплотную к корове. Она медленно поднимается с земли, но не уходит, а продолжает стоя жевать жвачку и только время от времени лениво помахивает хвостом.

– Во, – оживляется Женя, – щас другое дело.

Он с опаской наклоняется, подставляет под коровье вымя фуражку и свободной рукой тянет вниз за сосок. Мы затаив дыхание следим за тем, как тонкие белые струйки молока бьют в дно фуражки.

7

– Вы что же это делаете? – раздается вдруг сердитый голос.

Оборачиваемся и видим совсем близко от нас полную женщину с потным красным лицом.

– Как вам не стыдно? Зачем вы мне корову портите? Вы из нее каплю выдоили, а вечером она мне две литры недодаст.

Женя прячет фуражку за спину и медленно пятится от коровы поближе к нам.

– Чьи вы будете? Какой фамилии, а, девочки? – женщина надвигается на нас с Катей.

Костя наклоняется к Вовке и тихо шепчет ему на ухо:

– Вовка, давай, кто громче крикнет.

– А зачем?

– Ну просто так. Посмотрим, кто победит. Давай! Считаю до трёх. Раз, два, три.

В тот же миг раздается истошный Вовкин крик. Рядом стоит Костя, молчит, наклонив голову, смотрит на Вовку. Женщина забывает про корову, оставляет в покое нас с Катей и быстро подходит к Вовке, с тревогой смотрит на него и спрашивает:

– Что это с ним, а?

– Солнечный удар, наверно, – говорит Костя. – Он только с

виду такой крепкий, а так слабый. Целый день на жаре, без еды, без воды. Это мы для него хотели маленько молока надоить, – Костя вздыхает и замолкает. Вовка стоит красный, как помидор, и смотрит круглыми глазами то на женщину, то на Костю.

– Мать на работе, что ли? – спрашивает тётенька.

– На работе, – торопливо говорит Костя.

– Ох-хо-хо, – вздыхает женщина и опускается на траву. Она развязывает узелок и раскладывает на куске материи съестное: краюху хлеба, вареные яйца, перья зеленого лука. Облизывая губы, смотрим мы на литровую банку с квасом.

– Подходите сюда, – приглашает нас женщина, – поешьте, попейте маленько. Садитесь, садитесь. Пока домой доберетесь.

Мы медленно придвигаемся к женщине. Только сейчас, глядя на эту еду, я чувствую, что не так хочется пить, как есть. Женя, отвернувшись от всех, выливает на траву синее от полинявшей фуражки молоко. Сосредоточенно жуем, запиваем квасом из одной кружки.

Женщина показывает глазами на корову:

– Ногу она повредила, вот и не гоняем ее в стадо. Пусть около дома подлечится. Смирная она у нас... Зорька, Зоренька... Ишь, уши наострила. Всё понимает.

– Спасибо, тетя! – благодарит женщину за всех Костя. – Вы не думайте, больше мы корову доить не будем.

– Понятное дело, – женщина принимается за вязанье.

8

Мы лениво бредем к дому. Позади всех сопит Вовка. Вид у него очень обиженный. Но внимания на него никто не обращает.

– Дураки вы, – неожиданно говорит Вовка, глядя на мальчишек.

– Ты чего это обзываешься? – наступает на него Женя. – Малявка несчастная!

– Я не малявка. Я вот, – Вовка показывает два пальца, – я вот через два года в школу пойду... А вы всё равно дураки.

Костя, пряча улыбку, опускается перед Вовкой на корточки.

– Почему дураки? – спрашивает он.

– Потому... Женька фуражку испортил. Она теперь мокрая

и мятая. А ты меня обманул. Сказал: давай кричать, кто победит. А сам не кричал, – у Вовки даже слезы на глаза навернулись. От обиды. – А тетя такая хорошая была. На маму похожа на мою.

– Ты что?! – закричала на брата молчавшая до сих пор Катя. – Ты что, на маму? Тётенька старая и толстая, а наша мама молодая и красивая. Если не помнишь маму, так лучше молчи.

– Я... я помню маму, – сказал Вовка и заплакал.

– Не надо, Вов, – уговаривает его Костя. – Забудь, не обижайся. Ладно? Мы же друзья, а на друзей нельзя сердиться. Фуражка твоя высохнет и будет как новая... А тётя на твою маму похожа, наверно, потому, что добрая, да?

– Да, что добрая, – соглашается Вовка и размазывает по щекам слезы.

– Ну и всё, пойдем!

9

На полпути к дому Женя предлагает вдруг отправиться в лес на неведомую мне речку Березовку. Жарко, и очень хочется искупаться. Выходим на лесную поляну и замираем на месте. Такую поляну и захочешь – не обойдешь стороной, столько на ней земляники. Присели на корточки, встали на колени и отправляем ягоды в рот.

– Ну, идем мы на речку или нет? – спрашивает наконец Женя.

– Идем! – весело отзываются все.

Ручей преградил нам путь. Через ручей бревнышко перекинуто. Костя балансирует руками, переходит по бревнышку на ту сторону и ждет остальных.

– Давайте скорее! – зовет он нас нетерпеливо.

– Да вот, – Женя кивает на меня, Вовку и Катю, – они боятся. Брат берет меня за руку, и мы балансируя идем по бревну.

– Не дергай ты меня! – сердится брат.

– Это ты меня дергаешь, – говорю я, и в тот же миг, покачнувшись, срываюсь с бревнышка и падаю в воду, увлекая за собой Женю.

С громким плачем поднимаюсь на ноги. Вода в ручье едва прикрывает мои коленки. Платье намокло и прилипло к телу.

– Ну все, Женечка, будет тебе от мамы, – говорю я, захлебываясь слезами.

– Сама виновата и еще воеет, – возмущается Женька. А потом кричит Костя: – Кость, а вода здесь какая тёплая! И чистая. Посмотри!

Костя «пробует» воду босой ногой. Одобряет:

– Вода что надо. Давайте здесь купаться!

Женина рубашка и мое платье сушатся, развешанные на кустах. Все мы с визгом и радостными воплями плещемся в воде. И зачем нам какая-то речка? Нам и тут хорошо-распрекрасно.

10

Солнце близится к закату. Пора домой. Мы выходим из леса к длинной изгороди, которой огорожено большое старое кладбище. Его можно обойти стороной, но для этого понадобится сделать большой крюк. А мы устали так, что еле передвигаем ноги. Пролезли через проем в ограде и пошли напрямик через кладбище.

Большое малиновое солнце повисло над горизонтом. Сейчас оно не огненное, не ослепляющее. На такое солнце можно смотреть, даже не прищуривая глаза. Тени стали длинными-длинными. Коротышка Вовка и тот на тени длиннее самого высокого человека.

Костя смотрит на заходящее солнце и говорит, легонько толкая локтем в бок моего брата:

– Эх, жалко, не успели пройти вовремя...

– Ничего, как-нибудь, – говорит Женька.

– Куда не успели? – с тревогой спрашиваю я.

– Через кладбище пройти не успели, – поясняет брат, сосредоточенно наморщив лоб. – Вечер наступает. Как только солнце опустится к самой земле, могилы зашевелиятся, провалятся, откроются гробы, и из них встанут покойники.

Мы с Катей и Вовкой в ужасе замираем на месте.

– Зачем ты их пугаешь? – говорит Жене Костя. И поворачивается к нам. – Не бойтесь. Это не страшно. Ну, встанут покойники. Ну и что? Они же стоят с закрытыми глазами, никого не видят. Только руки вот так протягивают, протягивают... Надо

идти мимо, стараться не смотреть на них и держаться подальше, чтобы они руками не задели.

– А если заденут? – спрашивает Катя свистящим шепотом.

– Если заденут? – Костя вздыхает, пряча от нас глаза. – Тогда провалишься вместе с покойником в гроб. Крышка захлопнется, и земля на могиле опять сойдется.

– Ма-ма, – завываю я вполголоса.

– Пойдемте скорее! – торопит всех Женька. – Может, успеем пройти, пока солнце не село.

Все срываемся с места и бежим.

– Ты смотри, – говорит Женька Косте, – не успели... Вон один вроде стоит уже. – Брат кивает головой куда-то в сторону.

Мы с Катей застываем на месте и со страхом вглядываемся в заросли кустов. Вовка громко сопит рядом и трет одну ногу о другую. Фуражка совсем сползла на его нос. Женя хватается за руку и говорит хриплым голосом, срывающимся от волнения:

– А ну, бегом!

Мчимся так, что ветер свистит в ушах. И кажется, слышно, как за спинами хлопают крышками гробы.

Наконец выбегаем из кладбищенских ворот на широкую поляну. Оглядываемся. Тихо и спокойно на кладбище. Темнеют кусты, поблескивают в отсветах зари таблички на памятниках. Шелестят листвой деревья.

– Вруши, вруши! – кричит Катя. – Никаких покойников нету. Мальчишки смеются. Не спеша идем домой.

– Ну ладно, до завтра, – прощается возле своего дома Костя.

Катя с Вовкой бегут к своей калитке. Слышно, как бабушка Егоровна отчитывает их. Нас с братом мама встречает вопросом:

– Где это вы бегаете до сих пор?

– На кладбище, – отвечаю я.

– Веселенькое место для детских игр, – замечает мама, велит нам мыть руки и садиться за стол. Ужинаем. И только сейчас я чувствую, как устала за день. Сами собой слипаются глаза. Спать...

Интересно, почему это мама завела разговор о молоке? Может быть, прослышала что-нибудь про нашу неудачную дойку чужой коровы?

Как-то вечером она присела на ступеньки крылечка рядом с Егоровной и сказала:

– Я с вами, Егоровна, посоветоваться хочу. Вы никогда не держали козу?

– Как не держала! – сказала Егоровна. – Была у меня коза Фроська. Умница такая, ласковая. Бывало, говоришь с ней, стоит, слушает. Как человек. Всё понимала, разве что говорить не могла. И молока по три литры в день давала. А с коровьим его не сравнишь. Чистые сливки. А корм? Корове-то эвон сколь на зиму надо. А козе что? Сена клок, лист какой капустный, очистки картофельные... Коза – это милое дело, – сказала напоследок Егоровна и спросила еще: – А что, Вера, не купить ли козу собираешься?

– Я шла сегодня, – сказала мама, – и на двери хлебного магазина объявление прочитала: коза продается. Написано, что недорого.

– Мой тебе совет: бери, – сказала убежденно Егоровна. – С молоком будете.

Через два дня – было это в воскресенье – мама купила козу. Привела ее на веревке бывшая хозяйка Майки. Так звали козу. Майка изо всех сил упиралась и никак не хотела заходить в калитку нашего двора.

– Ах ты, сердешная, – сказала бывшая Майкина хозяйка со слезами на глазах, – чуёт, видно, что чужим людям её отдаю. Да если бы не крайняя нужда, ни в жисть бы... Ну, чего глядишь, милая? Иди, иди, тут теперь дом твой будет. – Женщина сильно покраснела от натуги, натянула веревку и втащила-таки козу во двор. Потом она накинула конец веревки на столбик ограды, крепко затянула его узлом и поспешила к выходу.

Коза истошно заголосила. Женщина на ходу оглянулась на нее.

– Прощай, родимая, – и повернула потное лицо к нашей маме, сказала о козе: – Умная. Всё понимает, только говорить не может.

Вот и Егоровна так же о своей козе говорила. Все они, видно, одинаковы: всё-всё понимают, а вот сами говорить не умеют. Потом я подумала: а что если попытаться научить Майку разговаривать? Бывают же говорящие попугаи и даже скворцы. Надо долго-долго повторять ей одно и то же. Вдруг заговорит?

– Веревку-то, – крикнула мама вслед уходящей женщине. – Веревку забыли.

– Не надо! – крикнула в ответ тётенька. – Пусть при ней останется. Да не спускайте ее с веревки подольше. Пускай хорошо к вам привыкнет.

Мы с мамой нарвали на поляне за оградой пук травы и положили его перед Майкой.

– Ешь, ешь, умница, – уговаривала мама козу.

Коза не ела. Натягивала веревку так, что казалось та не выдержит и лопнет, металась у ограды и мекала.

– Может, она пить хочет, – подала голос подошедшая к нам Егоровна. – Ишь, бока у нее так и ходят.

Мама сбегала в дом, вернулась с большой миской и поставила ее перед козой.

– Попей, глупенькая!

Майка потянулась губами к воде. Показалось, что она сейчас начнет пить. Но неожиданно коза мотнула головой, сделала сильный скачок вперед... Я даже не поняла сначала, что произошло. Увидела только опрокинутую миску, лужицу воды возле нее да маму... Только что она сидела на корточках перед Майкой, а теперь лежит на спине. Коза же, натянув веревку и низко пригнув голову к земле, снова приготовилась напасть на маму.

Мама поспешно вскочила на ноги, отбежала в сторону, окинула всех, кто был во дворе, смущенным взглядом и рассмеялась.

– Да это что же за чёрт с рогами? – возмутилась Егоровна, всплеснув руками. И посоветовала маме: – Оставь ты, Верочка, ее в покое, окаянную. Захочет – и попьет, и поест. Пошли по домам. Пусть перебесится.

Женя дома затеял игру: поймал жука, привязал к его ноге один конец нитки, а другой зажал в руке. Жук ползет, ползет по подоконнику, потом расправляет твердые блестящие крылья,

из-под которых появляются еще одни, тонкие и прозрачные, точно из папиросной бумаги. Жук взлетает, но нитка сдерживает его. Он шлепается на стол и, приподняв верхние, старательно складывает нижние крылья. Потом все повторяется опять.

– Отпусти жука, сейчас же отпусти! – кричу я Жене. И бегу к маме: – Мама, а Женька жука мучает. Пусть отпустит, скажи ему!

– Не мучаю я его, – кричит из комнаты брат. – Я хочу рассмотреть, как он летает. Может быть, самолет построю с такими же крыльями.

В это время раздается громкий крик Егоровны. Она зовет маму. Мы втроем выбегаем на крыльцо, и первое, что бросается в глаза, это Майка. Пока мы находились в доме, она перепрыгнула через ограду и сжевала полгрядки морковки.

– О господи! – жалобно простонала мама и бросилась в огород спасать вторую половину грядки.

Общими усилиями коза была водворена в сарайчик для дров и привязана там к дверной ручке. Снаружи дверь закрыли на защёлку да еще подперли «на всякий пожарный случай», как сказала Егоровна, коротким толстым обрезком бревна.

12

Майка снилась мне всю ночь. Проснулась я рано. Сразу же подумала о Майке и спросила у мамы:

– А когда будет молоко?

– Какое молоко? – спросила мама.

– Козлиное, – сказала я.

Мама задумалась, потом сказала:

– Не знаю, надо у Егоровны спросить.

Егоровна охотно согласилась помочь.

– А что ж, пойдем, посмотрим эту заразу. Ежли в ней что имеется, выдоим. Не разузнали у хозяйки-то, в каком состоянии коза. Ну да ничо, сами выясним.

После осмотра Майки Егоровна сообщила, что молока в ней нет ни капли, что дело это сурьезное, и хорошо бы попробовать получить от «заразы» козлёнка. Тогда уж она точно станет давать молоко.

Я обрадовалась этим словам Егоровны и даже согласилась

про себя вовсе не иметь от Майки молока, лишь бы появился у нее маленький козлёнок. А мама отчего-то приуныла.

Потом мама ушла на работу, а мы с ребятами без устали, целый час, наверно, рвали траву и таскали ее козе. Труды наши пропадали зря, потому что Майка больше топтала траву, чем ела.

– Видать, с корня привыкла корм брать, – сделала вывод Егоровна. – Надо её на выгул свести.

Нам надоело торчать во дворе, и слова Егоровны мы встретили с большой радостью. Выгул представился мне незнакомым раздольным лугом с шелковистой травой и цветами.

Егоровна отвязала Майкину верёвку от дверной ручки, и мы большой дружной компанией вышли со двора. Майка вела себя хорошо. Она резво шагала впереди всех, слегка натягивая верёвку.

– Будь ты неладна, – ворчала негромко Егоровна. – Столько дел в огороде, а тут возись с тобой.

– А давайте мы ее сами поведем, – предложил Женя.

– Баб, ну пожалуйста! – немного капризным тоном добавила Катя.

– Далеко ль вы ее уведете? Или она вас... – засомневалась Егоровна. А потом согласилась: – Ну, держите, поглядим.

Женя намотал конец веревки на руку. Майка всё так же резво семенила по дороге к лесу.

– Нормально, – сказал оборачиваясь на ходу мой брат.

– Ну, с Богом! – напутствовала нас Егоровна. – Привяжите ее там к деревцу, пусть попасется.

13

Опять на нашем пути кладбище. Обходить его по дороге – значит, делать порядочный крюк. Да и Майка потянулась губами к ограде из осиновых жердей. Скребанула зубами по жерди, оставила на серой коре белый след. Потом пригнула голову, нырнула под верхнюю жердь, легко перепрыгнула через нижние и оказалась по ту сторону ограды. Нам ничего не оставалось, как последовать за Майкой. А она сделала несколько шагов и начала жевать траву на заброшенной не огороженной могиле. Трава здесь была густой и сочной.

– Пусть здесь пасется, да? – Женя обмотал конец веревки вокруг низкого, вросшего в землю креста.

Постояли мы около Майки, поскучали.

– Пойдемте к лесу, – предложил Женя, – земляники поедем. А назад будем идти, заберем ее.

Сходили в лес, поплескались в ручье, земляничкой полакомились. А когда зашли на кладбище за Майкой, на месте её не оказалось. И креста, к которому ее Женя привязал, на могиле тоже не было. От него остался только торчащий из земли гнилой обломок.

– Вот будет теперь от мамы, – заныла я, едва сдерживая слёзы.

На самом-то деле мне было очень жаль маму. Она так хотела, чтобы у нас было своё молоко, столько денег на эту Майку потратила, а мы её потеряли. Понурые, шли мы домой. Катя тоже приуныла, поглядывала на меня с жалостью. А Вовка просто устал.

Дома нас ждала великая радость. Едва войдя во двор, мы увидели нашу драгоценную Маечку. С поднятой головой она лежала около крыльца, а невдалеке от нее валялся крест, обмотанный верёвкой.

Мы вмиг забыли об усталости, весело запрыгали, зашумели.

– Во даёт! – радовался Женя. – Надо же, сама нашла дорогу домой! Молодчина!

Я присела рядом с Майкой, погладила её по тёплому мягкому боку.

– Умница, Маечка. Всё понимает. Скажи «мама». Ну скажи «мама».

– М-ме, – протянула Майка.

– Сказала! Слышали? Сказала! – ликую я.

На шум, поднятый нами, приходит Егоровна. При виде креста она отступает на шаг, крестится и говорит сердитым голосом:

– Вы что же это делаете, басурманы? Зачем крест приволокли?

– Это не мы, она, – кивает Женя на козу.

– Ой, не будет с неё толку, – с осуждением говорит Егоровна.

Ночь Майка провела в сарае. Утром мама открыла дверь сарая, чтобы коза могла выходить на волю, но от дверной ручки отвязывать её не стала.

Днем нас опять ждала неприятность. Когда мы, вволю набегавшись, вспомнили о мамином наказе следить за тем, чтобы у Майки постоянно были трава и вода, прибежали к сараю, то увидели, что нет там ни козы, ни дверной ручки, к которой её привязывали. Мы с Женей обегали все соседние улицы, наведались даже на кладбище. Майки не было нигде.

Уже вечером, когда мама пришла с работы, упиравшуюся Майку притащил на веревке незнакомый нам дед. Он сказал, что коза забралась к нему в огород и обглодала капусту. Мама стояла перед дедом вся красная и нескладно извинялась.

– Ой, и зачем я купила её на свою голову? – вырвалось у мамы.

И тут дед сказал, что если мама согласна, он козу купит.

– Продавай, Вера, – посоветовала сдержанно Егоровна. – За козой глаз да глаз нужен. Человек на пенсии, наверно, – кивнула старушка на деда, – да и хозяйка, должно быть, дома сидит. Тогда, конечно, сладят они с заразой этой.

Договорились о цене. Мама немного потеряла денег на Майке. Но когда дедушка удалился, уводя за собой козу, мама вздохнула с большим облегчением, улыбнулась, потерла ладонью лоб и сказала весело:

– Кошмар какой-то.

– И-и, что ты, милая, – поддержала её Егоровна. – Коза – это ж не приведи господь что такое. Она в любую щель, как змея, пролезет, напакостит на сотню, а пользы ни на грош.

– А вы говорили... – начала было мама.

– Говорила, не говорила, – Егоровна махнула рукой и поспешила к себе домой.

Одну добрую службу сослужила нам Майка. Слух о её дурном нраве облетел всю округу. Соседи жалели маму. А бабушка Петровна пришла к нам домой и сказала:

– Ну, Вера, если хочешь, по литре молока в день я буду тебе давать. Как же ребятам без молока?

Костя с Женей в последнее время постоянно говорят о каких-то кладах, раскопках, золоте. Наверно, потому, что мама прочитала нам в газете, как в каком-то небольшом городе строители нашли клад. Когда копали котлован для фундамента, вырыли сундучок, и в нем оказались золотые монеты, украшения и пачки бумажных, истлевших от времени денег с портретами царя.

– Ты представляешь, – говорил Костя Женьке, – может, мы по золоту ходим. Может, вот тут, где мы стоим, в земле такой же сундук спокойненько полёживает. Надо копать. Найдем клад, про нас тоже в газетах напишут.

– И премию дадут, – сказал Женя. – Я себе тогда самокат куплю.

– Какой самокат! – сказал Костя. – Знаешь, сколько за клад денег дадут? На мотоцикл, наверно, хватит. А может, даже на два.

Неподалеку от места, где мы живем, на окраине города, по дороге на кладбище раскинулась большая зеленая поляна. Мы часто играем здесь. Внимание наше привлекли ямы, заросшие травой. На дне их обломки кирпича, полусгнившие щепки. Мы расчистили этот хлам и устроили себе жилища с «печкой», «столом», «стульями». Сейчас мы опять пришли сюда. Костя помолчал, потом вскинул на Женю загоревшиеся глаза.

– Слушай, а ведь эти ямы – воронки от бомб. Точно! Когда-то давно здесь были дома. Видишь это? – он указал на щепки и битый кирпич. – Их разбомбили. Наверно, в революцию. Это было очень давно. Видишь, какая тут трава выросла? Тут, наверно, богатеи жили. А наши их из пушки трах-ба-бах! И вот.. – Костя кивнул на ямы, не вынимая рук из карманов залатанных штанов.

– Ну насочинял! – сказал Женя с сомнением в голосе.

– Да точно я тебе говорю, что так всё и было. А раз здесь жили богатеи, то они всё своё богатство где-то здесь рядом в землю зарыли. Они все так делали. Надо искать! Всю поляну эту надо обойти, просмотреть. Может, какой бугорок в том месте, где клад закопали, остался или еще что. Давайте разойдемся и всё проверим.

Мы разошлись в разные стороны и стали колесить по поляне без всякого результата.

– Ой, – захныкал вдруг Вовка. Он то ли сидел на земле, то ли стоял на коленях. Мы не поняли сразу.

Катя бросилась к брату. Я – за ней. Оказалось, что Вовкина нога провалилась в какую-то яму.

– Ну вас, ищите сами, – хныкал Вовка, потирая ушибленную ногу, – а я вот сяду и буду сидеть.

Костя, не обращая внимания на Вовкины слова, кинулся к тому месту, где провалилась Вовкина нога.

– Вовка, молодец, нашел! – срывающимся от волнения голосом сказал Костя.

Мы подошли к нему. Костя лежал на боку, засунув руку по самое плечо в яму.

– Смотрите сами, – сказал Костя и отодвинулся в сторону. Мы по очереди, один за другим, сунули руку в яму. Дна у этой ямы не было. По крайней мере дотянуться до него рукой никто из нас не смог, как ни пытался. Там была пустота. И тянуло из ямы затхлостью и холодом.

– Точно там клад, – произнес Костя негромко, но внушительно. Медлительный Вовка оживился. Он подошел к Косте и сказал:

– И мне мотоцикл давайте. Поняли? А то не дам клад. Это я его нашел.

– Во дает! – одобрительно заметил Костя. – Будет, Вовка, тебе мотоцикл. Только штаны покрепче завязывай, когда садиться на него будешь, чтобы не потерять.

– Завяжу, – пообещал Вовка.

Костя попытался руками расширить отверстие. Но земля была плотной и не поддавалась.

– Нет, – сказал Костя, – ничего не выйдет. Пойдемте домой. Мы с тобой, Женька, вернемся сюда с лопатой.

– Кроме лопаты еще и лестницу надо. Тут глубина, может, сто метров. И фонарь надо. Видишь, какая там темень.

– Не потащимся же мы с лестницей. Веревку возьмем, у нас есть... Один кто-то держать наверху будет, другой вниз по веревке спустится.

– Чур, я первый спущусь! – сказал поспешно Женька.

– Ты или я, какая разница? – поморщился Костя. – А вот фонаря у меня нет. У тебя ведь тоже нет? Спички тогда возьмем. Можно и спичкой посветить.

16

Костя и Женя приказали нам забыть о кладе и никому ни слова о нем не говорить. Костя сбегал домой, прихватил спички и веревку. Мальчишки ушли, а мы с Катей и Вовкой принялись играть в дом. И даже не заметили, как дело подошло к вечеру и пришла с работы мама.

– А Женя где? – спросила она.

Мысли, одна обгоняя другую, пронеслись в моей голове. Как быть? И маму обманывать нехорошо, и правду нельзя сказать.

– Я спрашиваю, где Женя? – громче повторила мама.

– А они с Костей... – начал было говорить Вовка, но неожиданно вскрикнул, глядя на Катю: – Чего ты щиплешься? Я бабе скажу.

– Пойди, Люда, поищи брата, – сказала мне мама.

Я с готовностью – лишь бы не отвечать на мамин вопрос – бросилась за дверь.

– Женя, Женя! – кричала я, стоя на крыльце, хотя отлично понимала, что брат не слышит меня.

Немного погодя я вернулась в дом и сказала маме:

– Не знаю я, где Женя. Зову его, зову, он не идет.

Убежали домой Катя с Вовкой. Из кухни доносился аппетитный запах жареной картошки. Но мне даже есть расхотелось. Я слышала, как мама несколько раз выходила из дома и звала Женю, а его всё не было. Начинало смеркаться. Мама вошла в комнату, где тихо сидела я. Она уже ни о чем меня не спрашивала, только сказала с тревогой в голосе:

– Нет, с ним что-то случилось... Одиннадцать часов... Где искать, куда идти?

– Мамочка, они скоро придут, – сказала я. – Мы сегодня нашли клад, и Женя с Костей пошли его из ямы вытаскивать.

– Господи, какая яма, какой клад?

– Обыкновенный. В сундуке. Там золото и деньги. Про нас

теперь в газете напишут. А мальчишки себе мотоциклы купят. И Вовке тоже. Это он первый клад нашел, когда провалился ногой в яму.

– В яму провалился? – переспросила мама и тут же решительно схватила меня за руку и потащила за собой. – Пойдем!

– Только ты, мама, не говори мальчишкам, что это я тебе про клад рассказала. Это тайна, – предупредила я маму, еле поспевая за ней.

Я еще издали заметила, что ни Кости, ни Жени на поляне нет. Наверно, они перетасчили сундук в дом, точнее, в воронку от бомбы и сейчас пересчитывают золотые монеты, подумала я. Но все воронки были пусты.

– Где ваш клад? – спросила мама.

– Вон там, – я побежала впереди мамы и едва не угодила в черную дыру, которой раньше в этом месте на поляне не было. Рядом с ней на земле валялась лопата. Я присела у края ямы и услышала плачущий голос брата:

– Накатался на мотоцикле, да? Кладоискатель какой выискался.

– Дергать не надо было как ненормальному, – отвечал Жене сердито Костя. – А то рванул веревку, заорал: мертвец, мертвец!

Тут мама позвала:

– Женя, Костя!

– Мама! – послышался из ямы радостный Женькин крик.

В черном провале показались грязные ладошки. Женя в нетерпении шевелил пальцами и, видимо, подпрыгивал на месте. Мама наклонилась над ямой, ухватила Женькины руки и потянула их вверх. Показалась стриженная макушка моего брата, потом плечи, перепачканные землей. Женя уперся локтями о края ямы и с маминой помощью выкарабкался на белый свет. Затем таким же образом мама вызволила из темного плена и Костю. Выбравшись на волю, он начал деловито очищать от глины штаны. Глядя на продрогших мальчишек, мама спросила с усмешкой:

– Ну а где же клад?

– Да нет там никакого клада, – сказал Женя. – Это Костя всё выдумал: и бомбежки, и богатеев, и клад.

Костя молчал, отвернувшись от нас, и что-то негромко насвистывал.

– Какие бомбежки, какие богатеи? – спросила мама.

– Да вот Костя говорит, – ядовито процедил Женя, – что это воронки от бомб, что здесь в революцию богатеи разбомбили. Мама засмеялась.

– Еще лет пять назад здесь домишки стояли. Потом их хозяева поближе к центру города перебрались, а дома эти разобрали на дрова. А ваш клад – обыкновенный заброшенный погреб.

– Ха-ха, – засмеялся Женька, – а Костя клад искал в погребе!

Костя не выдержал, повернулся к Жене и крикнул:

– Молчи уж, трус несчастный! Гнилой столб за мертвеца принял.

– Я веревку держал, – стал объяснять Костя маме, – а Женька в яму спустился. Зажег там спичку, она сразу погасла. А он как закричит: «Ой, ой, мертвец!» У меня веревка на руку намотана. Я над ямой склонился. Темно, ничего не видно. Только хотел Женьке сказать, чтобы он другую спичку зажег, а он как дернет за веревку, я и свалился прямо на него. А он подумал, что на него мертвец кинулся, и чуть со страху не умер. Потом мы спичку зажгли, а в углу столб гнилой стоит, весь в плесени, белый.

– А то ты не трусил, пока мы столб не разглядели? – поддел друга Женька.

Костя ничего не ответил и прибавил шагу. Мы шли следом за Костей. Мама держала меня за руку. За нами плелся Женька и волок за собой лопату.

– Ну что мне с тобой делать? – выговаривала мама Жене. – Посмотрю, у всех дети как дети. А с тобой одно наказание. То с крыш ты прыгаешь, то лезешь в воду, не зная броду... То вот в погреб забрался. Когда только подрастешь да поумнеешь?

Я оглянулась на брата. Выражение его лица было обиженным и даже сердитым. Я поняла – это не от маминых слов. Женя обиделся на Костю. И очень может быть, что мысли его сейчас были такими: «Ну, Костя, всё! Я трус, да? Всё! Конец нашей дружбе!»

Но размолвка между друзьями длилась недолго. Уже на следующий день они помирились.

На дороге маячит Катина фигурка. Моя подружка подпрыгивает на месте, нетерпеливо машет рукой и зовет:

– Женья, Костя! Идите сюда! Вас моя бабушка зовет.

Я подбегаю к Кате вместе с мальчишками.

– Нам письмо пришло от папы, а бабушка видит плоховато, просит вас письмо прочитать, – говорит Катя.

Заходим всей компанией в дом Егоровны. Женья толкает Костю в бок.

– Читай ты.

Костя берет в руки письмо, откашливается и начинает неспешно читать:

«Здравствуйте, мама и наши дорогие карапузики Катя и Вовчик! Как вы там живете-поживаете? Хорошо вам там, дома. Мы с Лидой всё представляем, какое сейчас в Сибири замечательное время. Аж дух захватывает, как вспомним нашу тайгу, березовые рощи и таежные распадки. Даже во сне прохлада сибирских лесов снится. Это оттого, наверно, что к ночи спадает здешняя жара, и хоть тогда легче дышится. Зато днем, когда солнце в зените, зной стоит такой, что из дома выходить не хочется. Занавешиваем от солнца окна одеялами, заливаем водой пол и сидим, как сонные мухи. Работают наши изыскатели только ранним утром да вечером, до наступления темноты. Пустыня. Как она надоела, знали бы вы! Я уже писал вам, что мы ищем воду. Бурим грунт на десятки метров вглубь и мечтаем о том, как доберемся до мощного водоносного пласта, как ударит из скважины фонтан холодной чистой воды. Ищем воду так же, как нефтяники ищут нефть. Если б найти! Представляете, как изменилась бы эта выжженная солнцем пустыня. Вода, только вода нужна, чтобы мертвый здешний край стал цветущим садом. Нам доводилось бывать в оазисах, где шумят листьями рощи и сады, зреют яблоки, персики, виноград, дыни и арбузы.

Всё думаем с мамой Лидой: вот найдем большую воду и уедем отсюда домой, в родную Сибирь. И тут же сомневаемся: сможем ли так легко расстаться с таким краем? Привыкли мы к пустыне. Успели и возненавидеть ее, и полюбить. Видели бы

вы, как преобразаются эти места весной, в пору недолгих дождей. Вся пустыня расцветает вдруг, превращаясь в сплошной цветущий ковер. Особенно хороши тюльпаны. Красота сказочная. Жаль только, коротка пора их цветения. Задуют знойные суховеи и высушат пустыню в несколько дней, сметут с нее все травинки-былинки, словно и не было ничего. Вот тогда-то с новой силой вспыхивает в нас тоска по родным местам и родным людям.

Мы решили этой осенью забрать к себе ребят. За зиму, хоть и очень она здесь короткая, привыкнут к местному климату. Живет же здесь ребятня с родителями, и ничего. Пора и нам решаться. К осени нас обещают в поселок перевести, где всё есть: магазин, детсад, начальная школа. А ведь Катюше в этом году в школу. Мы с Лидой уже свою будущую квартиру смотрели. Сейчас в ней пока поселковый врач живет, но он скоро в новый дом переберется. По соседству с нами семья будет жить, так у них парень есть, примерно такой же, как наш Вова. Товарищем ему будет.

Ну всё! Вот сколько я вам написал! И от вас ждем такое же большое-большое письмо. Пусть Катя и Вова опять пришлют нам свои рисунки. Только вы, мама, подпишите, что они на них изобразят. А то Лида утверждала, что Вова в прошлый раз нарисовал слона, а я думаю, что это была поливочная машина. Месяца через два приедем в отпуск. До встречи. Папа, мама, Виктор, Лида».

Костя протягивает письмо Егоровне. Все почему-то молчат некоторое время. Каждый, я уверена, думает о прочитанном. Я, например, представляю себе цветущую пустыню. Вот, наверное, действительно красота! Хоть бы одним глазком взглянуть. Вырасту большая, решаю я, всю-всю землю объеду, всё посмотрю: и юг, и север, и пустыню в цвету...

Первым нарушает молчание Вовка. Сопит от удовольствия и говорит:

– Вот папа пишет, что у меня в пустыне уже товарищ есть. Как я, такой парень.

Мы бежим на улицу. Катя оживленно говорит о маме, папе, пустыне. Счастливая, осенью она поедет на юг. Я ей завидую. Для меня даже не важно, куда ехать. Главное – ехать куда-ни-

будь. Хорошо бы стать машинистом паровоза. В нашем городе машинисты – самые уважаемые люди. Но еще лучше стать летчиком. Можно летать выше и быстрее птиц. Вырасту, выучусь на летчика. Тогда и к Кате на юг слетаю. Прилечу и пойду по пустыне. Большая, красивая, в летчицком шлеме.

У наших мальчишек опять какие-то секреты завелись. Пришел Костя и зашептал что-то Жене на ухо.

– Конечно, согласен! – сказал громко Женя. – Что тут хорошего? Лес да кладбище. А там...

– Тише! – зашипел на него Костя. Я же сказал: никому ни слова!

18

У нас с Катей свои заботы. Мы нашли замечательное место для игр. По соседству с Костиным домом был расположен большой двор, огороженный высоким глухим забором. В одном конце его стоял длинный сарай из бревен с узкими грязными оконцами. Назывался сарай коровником, но жили в нем не коровы, а быки. Огромные такие, с мощными шеями и широкими плоскими лбами. Быков было шесть. По утрам их угоняли куда-то, а к вечеру быки возвращались в свой коровник.

Со смешанным чувством страха и любопытства смотрели мы на быков, когда их прогоняли по улице. Еще издали слышав бычий рёв, мы со всех ног улепётывали к себе во двор и, прислонившись к изгороди, смотрели на этих рогатых богатырей. Даже днем мы побаивались пустого бычьего двора.

Но как-то раз по шаткой и скрипучей лестнице мы с Катей забрались на покатую крышу нашего сарая. Отсюда как на ладони был виден бычий двор. Недалеко от входа во дворе были сложены бревна и штабель досок. Рядом лежала куча желтого песка. Всё это было так заманчиво, что мы тут же решили проникнуть во двор. Большая тяжелая калитка закрывалась снаружи на железную щеколду. Мы легко справились с ней. В бычьем дворе было так спокойно, тихо, солнечно. Мы погрузили босые ноги в теплый песок и засмеялись от удовольствия.

И еще одно достоинство было у этого двора. Высокий забор надежно скрывал нас от Катиного брата. Что ни говори, а

Вовка был для нас как путы на ногах. В разгар игры он мог запроситься домой или начинал ныть, что хочет есть или пить, или хватал наши с Катей игрушки. А здесь мы могли хоть ненадолго отдохнуть от него.

Но вскоре произошло событие, которое сделало бычий двор снова страшным и чужим для нас. Однажды, прямо в разгар нашей игры в песке, в середине солнечного дня мы услышали вдруг за забором бычий рёв. Это было так неожиданно, что мы с Катей оцепенели.

Калитка приоткрылась. Двое мужчин втолкнули во двор громадного рыжего быка. Лязгнула щеколда, калитка захлопнулась. Мне сразу показался тесным этот просторный двор. нас было трое: Катя, я и бык по кличке Амур. Мы сразу узнали его. Он отличался от других быков тем, что к его рогам была подвешена металлическая пластина, прикрывающая глаза. Амур славился неуравновешенным нравом. Неделями он мог быть спокойным. Но временами на него находило буйство. Он просто зверел, начинал гоняться за людьми, даже за теми, кто кормил его. Тогда-то и закрывали глаза Амура пластиной, чтобы он ничего не видел перед собой.

Катя вскочила на ноги и бросилась к выходу. Она раз-другой дернула за проволоку, привязанную к щеколде. В ответ слышалось звяканье щеколды, но калитка не открывалась. Видно, рабочие задвинули засов – длинный крепкий брусок.

– Люда! – крикнула Катя, – иди сюда!

Она легла на землю и, извиваясь змейкой, пролезла под калиткой на улицу. А я осталась одна с глазу на глаз с Амуром. Когда Катя позвала меня, бык насторожился и перестал бить копытом землю. Он начал медленно поворачиваться на месте и вдруг краем глаза нащупал меня. Я кинулась к воротам, прижалась к ним спиной и с ужасом смотрела на Амура, который двинулся в мою сторону. Я боялась пошевелиться, сдвинуться с места. А бык, тяжело дыша, застыл неподалеку в неподвижности. Потом, наклонив голову, снова стал медленно поворачиваться кругом, кося по сторонам страшными выпуклыми глазами. Это он, наверняка, высматривал меня. А за моей спиной, по ту сторону ворот, скреблась и негромко плакала Катя.

– Подожди, Людочка, я сейчас, – сквозь слезы уговаривала она меня, стараясь отодвинуть тяжелый для нее неподатливый брус.

В то время когда Амур снова краем глаза нащупал меня, калитка вдруг приоткрылась. Катя схватила меня за руку и выдернула на белый свет. Калитка за моей спиной захлопнулась. Громко звякнула щеколда. Мы с Катей сорвались с места и помчались к нашему дому.

Случай с Амуром настолько нас потряс, что мы ни словом никому не обмолвились о нем. И сами не любили вспоминать этот страшный день.

Неделю спустя мы собирали в придорожной канаве одуванчики. Неожиданно раздался пронзительный Катин крик. Я бросилась к подруге. Она сидела на краю канавы, поджав под себя ноги, и отчаянно визжала. Ничего не понимая, я обшарила взглядом место, куда смотрела Катя. В траве у Катиных ног копошился маленький мышонок. Я наклонилась и прикрыла мышонка ладонью. Подняла его, зажав в руке так, чтобы была видна лишь его остренькая мордочка, и сказала Кате:

– Ты его боишься? Посмотри, какой он хорошенький, маленький какой. Глазки черненькие, мягкий такой, тепленький, – приговаривала я, любуясь мышонком.

Катя перестала визжать. Она отодвинулась от меня и с опаской поглядывала на мои руки.

– Знаешь, Катя, – продолжала я, – можно сделать малюсенький домик, и мышонок будет в нем жить. Мы будем его кормить, поить. Он сделается совсем ручным, перестанет нас бояться...

– Я зато не перестану его бояться! – закричала Катя. – Если ты хочешь, чтобы я с тобой дружила, брось его сейчас же!

С сожалением выпустила я мышонка в траву. А Катя отошла подальше и сказала:

– Противная какая канава. Пойдем отсюда.

Я шла и думала про Катю: «Смешная. Когда Амур чуть не забодал нас, она не визжала так, как при виде мышонка. Вот трусиха!»

– А, вот вы где! – услышали мы голос Катиного братца. – Ну, Катечка, всё. Приедут мама с папой, я им расскажу, как ты от меня всё время убегаешь. Будет тебе.

– Не пугай, пугало, – отрезала Катя.

– Не обзывай его, – заступилась я за Вовку. – Он еще маленький. Ему, поди, скучно одному.

Вовка исподлобья посмотрел на меня, улыбнулся, потом подошел ко мне вплотную и сказал доверительно:

– А я что-то знаю... Женька с Костей собираются сбежать на юг.

– Не ври! – крикнули мы с Катей одновременно.

– Я не вру, – сказал Вовка. – Они разговаривали, а я всё слышал. Они и еду собирают. И еще купят ружья и пистолеты.

– Кто их отпустит на юг! – презрительно сказала я.

– Я же сказал: сбегут они из дома. Это у них тайна такая. Костю мачеха побила, и он больше не хочет дома жить.

– А Женя? – сказала я, сдерживая слезы. – Его ведь никто не бьет.

– Женька, он за компанию, – сказал Вовка.

А вот как раз и мой брат. Идет рядом с Костей. В руках у мальчишек какие-то свёртки.

– Женя, мы с вами! – кричу я.

– Нельзя с нами, – сурово отвечает брат.

Катя дергает меня за руку и шепчет, уткнувшись губами в мое ухо:

– Давай пойдем за ними. Только тихо, чтобы они не видели.

– А как? – спрашиваю я.

Катя медлит, потом решительно прыгает в «мышиную» канаву. Она пригибается и зовет меня рукой. Я, тоже пригнувшись, пробираюсь за Катей. За моей спиной сопит Вовка. Время от времени мы выглядываем из канавы и смотрим на мальчишек. А, всё ясно. Они направляются на ту поляну, где мы искали клад. Теперь можно не спешить. Пусть отойдут подальше. Мальчишки скрываются за поворотом. Мы выжидаем еще некоторое время, потом выбираемся из канавы на дорогу.

Пальцы босых ног утопают в мягкой теплой пыли. Печет солнце. Срываем большие листья лопуха и покрываем ими го-

ловы. Вовка нарочно загребаёт ногами, поднимая клубы пыли. Так жарко, что даже разговаривать лень. Неужели на юге ещё жарче? Нет, не хотела бы я бежать туда.

Наконец приходим на нашу поляну. В одной из ям, заросших травой, находим Костю и Женю. Они сидят на корточках, а перед ними на развернутой газете чего только нет! Успеваем разглядеть сухари, кусочки пиленого сахара, несколько розовых, покрытых глазурью пряников, конфеты, круглые, без обертки, крыжовник называются. Но особенно бросаются в глаза два новеньких блестящих пистолета. Игрушечных, конечно, из которых стреляют бумажными пистонами.

– Так-так, Женечка, вот где вы попались! – говорю я брату со злорадством в голосе, сидя на самом краю ямы.

Мальчишки одновременно вздрагивают. Костя встает и смотрит на нас злыми глазами. А Женя сильно краснеет.

– Ну я сейчас тебе задам! – кричит мне брат и карабкается из ямы наверх.

– Что мы вам сделали? – спрашиваю я плаксивым голосом, опасаясь, как бы брат не поколотил меня. – Можно, мы с вами на юг поедем?

– Эх ты! – Костя окидывает Женю презрительным взглядом. – Проболтался...

– Кто? – кричит, задыхаясь от возмущения, Женя. – Я проболтался? Сам ты, наверно, проболтался. Так хоть на других не сваливай!

– Откуда же они узнали? – недоумевает Костя.

– Мы нечаяно услышали, когда вы разговаривали, – хитрит Катя.

– Чайно или нечаяно, а они подслушали, предатели несчастные! – кипятится Женя. – Помнишь, как эта рыжая маме про клад разболтала?

– Сам ты рыжий! – говорю я брату. – Если бы я тогда маме про ваш дурацкий клад не рассказала, вы бы с Костей и сейчас еще в том погребке сидели.

– Мальчишки, – вкрадчивым голосом говорит Катя, – вы не думайте, мы никому не скажем. Возьмите нас с собой на юг.

– Нельзя, – сурово говорит Костя. – Мы поедем до самой пустыни, а там очень жарко и полно ядовитых змей, пауков,

скорпионов. Вот есть там такой паук, каракурт называется. Наступишь на него босой ногой, цапнет он за палец или за пятку, и всё, через пять минут умрешь. Никак не спасишься. И жара в пустыне в сто раз посильнее, чем у нас. А воды-то нет. Там верблюды по месяцу могут не пить. Сперва ведер десять выпьют за раз, потом долго-долго терпят. Мы с Женькой уже тренируемся. Вчера по ковшу воды выпили и до сегодняшнего дня еще ни капли в рот не брали. И пить неохота.

– Да, – вмешивается в разговор Вовка. – На юге правда нету воды. Когда мама с папой найдут ее, они нас с Катей возьмут к себе, а щас им самим пить нечего, терпят, как верблюды.

Все смеются. Костя берет Вовку за руку, говорит:

– Вот молодец! Здорово ты про верблюдов запомнил. Конечно, найдут ваши мама с папой воду, заберут тебя и Катю к себе. А где воду найдут – оазис сделают, сады насадят. А Вовик наш будет целыми днями грушами и яблоками объедаться.

Вовка сопит носом и довольно улыбается.

20

На следующий день с самого утра зарядил дождь. Мы с Женей сидим дома. Приходят наши друзья. Сначала Катя с Вовкой, а чуть позже и Костя. Он достает из карманов пригоршни леденцов и угощает всех.

Остается, может быть, всего один день до отъезда ребят на юг. Они сказали, что и сегодня могли бы уйти из дома, но помешал дождь. Теперь они ждут хорошей погоды. Мне все время жаль маму. Да и Женю с Костей тоже. Что если они не научатся обходиться без воды и умрут в пустыне, так и не добравшись до цветущего оазиса?

Я сосу кислый леденец и говорю брату:

– А может, вы сейчас не пойдете на юг? Немного подрастете и тогда?

– Нет, – отвечает за Женю Костя. – Мне теперь домой нельзя. Переночую где-нибудь, а утром – на юг.

– Почему нельзя? – спрашиваю я.

– Да отстанешь ты от человека или нет? – сердито обрывает меня Женя. – Сказано нельзя, значит нельзя. И не твое дело почему.

Кончился дождь, и выглянуло солнце. Сразу потеплело и повеселело вокруг. На дороге блестят лужи. Вовка, засучив штаны и оседлав длинный прут, шлепает босыми ногами по воде. Мы с Катей тоже бежим на дорогу. Сначала вода кажется холодной, потом ноги привыкают, и лужи становятся почти теплыми. Мы намазываем руки и ноги жидкой грязью. Идем с Катей, задрав носы, и беседуем:

– Ах, милочка, – говорит мне Катя, – где это вы купили такие красивые сапожки?

– Да это, знаете, мне знакомые из Москвы привезли.

– Какая прелесть! – восхищается Катя. – А мне вот эти перчатки с юга, из оазиса прислали.

– Грязнули несчастные! – кричит нам Женя. – Вот, Людка, придет мама с работы, она тебе задаст!

– Не бойся, – отвечаю я пренебрежительным тоном, но на всякий случай смываю и сапоги, и перчатки. И вовремя. По улице идет мама. Я бросаюсь к ней навстречу. Мама строго сдвигает брови и говорит:

– Сколько можно повторять, что нельзя после дождя бегать по лужам? Хочешь заболеть ангиной?

Дома мама растирает мои ноги сухой тряпкой и идет на кухню греть чай.

21

– Это тебе, – говорю я, протягивая маме несколько леденцов.

– Откуда конфеты? – спрашивает мама.

– Нас Костя угостил. У него их целая куча.

– Странно, – говорит мама.

Она готовит ужин, помешивая в кастрюльке суп. Потом зовет в открытое окно Женю. Тот приходит вместе с Костей. Костя все так же чем-то подавлен. Он топчется у порога, смотрит в пол.

– Костя, мне нужно поговорить с тобой, – говорит мама. – Иди сюда, к столу, садись. Скажи мне, на какие деньги ты купил конфеты? Или ты взял леденцы дома?

Мама выжидающе смотрит на Костю, но он молчит.

– Ты пойми, Костя, – продолжает мама, – если ты совершил какую-то ошибку, ее надо исправить как можно раньше...

Где же ты взял деньги? Я уверена, что дома тебе их не дадут. Может быть, нашел на дороге?

Костя смотрит в пол и, закусив губу, трясет головой: нет.

– Тогда, значит, без разрешения взял дома?

Костя молчит.

– И много взял? – спрашивает мама.

– Да, – тихо говорит Костя.

– Как ты мог это сделать? – спрашивает мама.

– Я больше никогда не пойду домой, никогда! – кричит сквозь слезы Костя. – Сбегу, уеду, буду работать.

– Конечно, – говорит мама, сдерживая волнение. – Подрастешь, закончишь школу, будешь работать, жить, как тебе хочется.

– Я не хочу подрастать, я сейчас...

– Но что же случилось? – спрашивает мама.

Костя плачет и, стыдясь слез, вытирает их сжатыми кулаками.

– А пусть мачеха не дерется! – кричит из своего угла Женя. – Она не имеет права не из-за чего бить. Вон у него какие на спине полосы от ремня. Покажи, Костя!

– Не твое дело! – кричит Костя и бросается к выходу.

– Куда ты? Подожди! – мама ловит на бегу Костю за руку. Он перестает вырываться, плачет уже в открытую и вытирает лицо рукавом старого свитера.

– Значит, вы теперь не будете сбегать на юг? – раздается Вовкин голос.

Все оглядываются. Вовка залез на завалинку, навалился животом на подоконник открытого окна и смотрит на нас круглыми глазами.

– На юг? – говорит мама, выпуская Костину руку. – Глупые вы мои! На какой там юг? Если бы вздумали уехать на поезде, вас сняли бы с него на первой же станции. А пешком до этого юга нужно идти, наверно, целый год.

– А куда вы теперь свои запасы денете? – спрашивает опять Вовка. – Съедите, да? А пистолеты?

Женя чуть не лопается от злости. Он бросается к окну, шипит на Вовку и сталкивает его с подоконника.

– Ты чо? – кричит Вовка, цепляясь руками за край подоконника. – Пусти, я же упаду!

– Женя, оставь ребенка в покое! – заступается мама за Вовку и зовет его: – Вовочка, заходи в дом!

– Нет, я пойду. Меня баба зовет, – явно врет Вовка.

Он выпускает наконец край подоконника, тяжело шлепаётся на завалинку, но тут же поднимается и улепетывает к себе домой. Костя немного успокоился.

– Ну, так, – говорит ему мама, – сколько денег ты взял? Что купил и сколько у тебя еще осталось?

Костя выгребаёт из карманов смятые бумажные деньги. Мама расправляет их, пересчитывает и хмурится, покачивая головой. Много, наверно, денег.

– Так, всё? А сколько же ты истратил? Что вы покупали?

Костя смотрит в пол и тихим голосом перечисляет:

– Килограмм леденцов за четырнадцать рублей, булочку за рубль десять, два пистолета по семь пятьдесят...

– И всё?

– Всё...

– Тогда это не беда, – успокаивает мама.

Она открывает свою старую с облезлыми углами лаковую красную сумочку, отсчитывает деньги и добавляет их к Костиным.

– Вы посидите здесь, – говорит мама. – Я скоро вернусь.

Всем нам ясно, что пошла мама к Костиным родителям. Вернее, родитель у Кости один, его отец. А мама у Кости умерла, когда меня и на свете не было. Потом Костин отец, дядя Петя, привел в дом тётю Нину, которая стала Костиной мачехой. Все мачехи в сказках злые. Но про такую злющую, как Костина, даже в сказке не вычитаешь. Там ведь мачехи только отцовых детей обижают, а своих жалеют. А от тёти Нины частенько достается не только Косте, но и Вальке, мачехиной дочке. Валька – нелюдиная девчонка. С ребятами она не играет, на улице мы ее почти никогда не видим. Но Костиного отца я боюсь больше, чем тётю Нину. Часто он возвращается домой пьяным. Издали завидев его, я забегая в свой двор, прижимаюсь лбом к заборчику и смотрю на улицу. Пьяный дядя Петя напоминает мне быка Амура.

И вот теперь моя мама пошла к этим людям! Я сорвалась со стула и помчалась следом за мамой. Я ее не догнала, она уже вошла к Ильиным. С опаской пробежала я по дорожке от калитки до крыльца Костиного дома и, еще не поднявшись на

крыльцо, услышала визгливый голос мачехи. Страшно было мне отворять тяжелую дверь чужого дома, но мысль о том, что моя мама находится сейчас в опасности, придала мне смелости. Сильно бьющимся сердцем я вошла в дом и застыла на пороге, прислонившись спиной к двери. Моя мама стояла посреди комнаты. Костин отец сидел за столом и с мрачным выражением на трезвом лице сосредоточенно водил пальцем по рисунку на старенькой потертой клеенке. Мачеха стояла у комода с картонной коробочкой в руках и противно выла. Меня даже никто не заметил, если не считать Вальку, которая со страхом смотрела из угла то на взрослых, то на меня.

– О-ё-ёй, – причитала тётя Нина, – убил, паршивец проклятый, без ножа зарезал... Три шкуры спущу с него, окаянного!

«Ничего себе, – думала я, сжимаясь в комок, – если одну шкуру с человека спустить, и то как больно, а три... Вот это мачеха так мачеха! Бедный Костя...»

К действительности меня возвращает крик мачехи:

– Пётр, почему ты молчишь? Видишь, до чего докатился твой выродок! Этак он нас по миру скоро пустит.

– Да перестаньте же наконец, – резко сказала моя мама. – Деньги я вам вернула. И предупреждаю: если будете давать волю рукам, бить детей, я заявлю на вас куда следует.

Мама пошла к выходу и увидела сжавшуюся в комочек Вальку, улыбнулась ей и сказала:

– Ты почему, Валюша, к нам никогда не приходишь? Приходи. Играть с Людой и Катей будете. Придешь?

Валька моргала и молчала. А я боялась: вдруг придет? Играть с мачехиной дочкой мне совсем не хотелось.

Мама взяла меня за руку, и мы пошли к себе домой. Всю дорогу я висла на маминой руке, прыгала на одной ноге и была очень горда за маму и счастлива. Мне опять в который раз подумалось, что моя мама лучше всех на свете.

22

Не люблю, когда мальчишки играют в войну. Много шума и трескотни, а всё равно скучно. Скучно мне, но не им. Носятся как угорелые, размахивают самодельными деревянными ружь-

ями, автоматами строчат: та-та-та-та... Со всего размаха кидаются на землю, ползут, извиваясь, по траве. Посмотреть со стороны – ненормальные, да и только.

Мне немного обидно за Катю. Как видно, эта возня ей нравится. Когда распределяются роли, кому кем быть, Катя подпрыгивает на месте, машет обеими руками и кричит: «Чур, я радистка!».

Костя – командир красных, Женя тоже, конечно, командир, только синих. Мне, так уж повелось, выпадает обязанность санитарки. Только Вовка сегодня не у дел. Мальчишки не могут простить ему его вчерашней выходки – того, как он нашей маме про побег на юг всё выложил.

– С вами хочу, – нудит Вовка, вот уже, наверно, в десятый раз повторяя одно и то же.

– Мне такие бойцы не нужны, – говорит сурово Костя. – Просись к Женьке, может, он тебя возьмет.

– Не-ет, – отмахивается от Вовки мой брат, – мне тоже не надо.

– Возьмите разведчиком, – ноет Вовка.

Мальчишки хмыкают в ответ.

– Ну, санитаром...

– Санитары уже есть, – говорит Костя.

– А почту носить? – предлагает опять свои услуги Вовка.

– Некогда, дружок, нам письма писать, – говорит Костя с издевкой в голосе. – Бой сейчас начнется.

– Ну, хоть предателем, – канючит Вовка, готовый разревься.

Женя мгновенно оживляется:

– Предателем? Вот это тебе подойдет!

– Только, – от волнения у Вовки округляются глаза, – только я буду немцев предавать.

– Нет, – смеется Женя, – немцев предавать нечего. Мы их и без тебя перестреляем. наших будешь выдавать. Согласен?

Вовка сопит и ничего не отвечает.

– В последний раз спрашиваю, – наседает на него Женька, – согласен?

– Согласен. – Вовка плачет, уже не скрывая слез.

– А если согласен, – кричит Женька, – то... по предате-

лям советских людей... огонь! Та-та-та! Всё, Вовочка, падай. Я тебя убил.

Вовка ревет во весь голос. Не выдержав, я бросаюсь к нему.

– Нет, нет, Вовочка, ты не убитый, а только раненый. Я тебя сейчас перевяжу, и всё пройдет.

– Я не предатель, – говорит Вовка, захлебываясь слезами.

– Конечно, не предатель. Ты хороший мальчик, – утешаю я Вовку. – Сами они предатели и дураки. Не будем с ними играть, ну их!

Я беру Вовку за руку и иду с ним к крылечку. Не нужна нам такая игра.

Мальчишки стреляют по невидимому противнику. Костя выглядывает из-за сарая. Женя лежит у забора в лопухах. Ненормальные... И Катя не лучше. Корчит из себя настоящую радистку. Перекрывая шум, поднятый мальчишками, кричит: «Роза, роза, я мимоза!» Смешно...

Все забыли про нас с Вовкой. Ну и пусть себе воют. Мы сидим тихонечко на крыльце и греемся на солнышке.

23

Через несколько дней Катя вбежала к нам в дом, обхватила меня руками и завертела вокруг себя.

– Ой, Людочка, мама с папой приезжают!

Я знала, как стосковались Катя и Вовка по родителям, и обрадовалась за них.

– Правда?! А когда приезжают?

– Сегодня вечером! – ликовала Катя. – Мы с бабушкой пойдем их встречать.

Целый день только и разговоров у нас о Катиных родителях.

– Мама у меня, – говорит Катя, – знаешь какая красивая! Вот сама увидишь.

Я мычу что-то неопределенное, а про себя думаю, что моя мама тоже очень красивая, может, покрасивее Катиной.

Катя то и дело бегают к себе домой, спрашивает у бабушки, не пора ли идти на вокзал. И вот она издали машет мне рукой и кричит:

– Люда, больше я не выйду! Мы сейчас будем переодеваться. Пораньше пойдем, лучше там подождем, на вокзале.

Играть одной совсем неинтересно. Я сижу на своем крыльце и думаю: скорей бы Катя вернулась с вокзала. А Катя, Вовка и Егоровна только еще выходят из дома. На Кате красивое платье, какого я на ней ни разу не видела, на голове большой голубой бант. Бабушка сняла свой передник и тоже надела чистое платье. Но всех удивительней выглядит Вовка. На нем светлая рубашка и трусы с отглаженными стрелками. На голове белая панама, на исцарапанных ногах белые носки и новые сандалии. Таким чистым и нарядным я вижу Вовку впервые. Всё лето он носился босиком, с непокрытой головой или щеголял в старой дедовской фуражке. Катя нетерпеливо подпрыгивает и машет мне рукой, а Вовка вышагивает так важно, что даже голову повернуть боится.

Вечером мы всей семьей сидим на нашем старом скрипучем диване. Мама штопает Женину рубашку и негромко напевает. Я сижу рядом, прислонившись к маминому плечу. Женя на другом конце дивана читает книгу. Вдруг в комнату влетает Катя. В руках у нее сверток из газеты.

– Это урюк. Вам бабуля дала. Мама с папой с юга привезли. Люда, пойдем, ты их посмотришь. Пойдем!

– Можно? – спрашиваю я у мамы.

– Только ненадолго, поздно уже, – разрешает мама.

Мы беремся с Катей за руки и убегаем. Мама у Кати и вправду красивая, темноглазая, с короткой стрижкой.

У моей мамы глаза светлые, серые. А волосы длинные. Уходя на работу, она укладывает их узлом на голове, а дома заплетает в косу. Моя мама красивее Катиной, думаю я. Но и Катина тоже ничего. А папа совсем хороший. Веселый. Всё время шутит. Но я его стесняюсь и втайне очень завидую подружке, что у нее есть папа, а у меня нет. Наш папа так и не вернулся к нам.

У многих на войне погибли отцы. На всю округу можно по пальцам пересчитать фронтовиков, которые вернулись домой. И один из них – дядя Ваня Сергеев. Вернулся с фронта без обеих ног. И стал ростом с коротышку Вовку. Колесит по улицам на низенькой деревянной тележке, отталкивается от земли жатыми в руках чурбачками. Мне до слез жалко дядю Ваню. А он еще улыбается, шутит:

– А ну, кто со мной наперегонки?

Мы смотрим ему вслед и молчим. И никто никогда не попытался принять его предложение посостязаться в скорости.

Я иногда смотрю на дядю Ваню и думаю: «Как было бы хорошо, если бы наш папа вернулся к нам хотя бы таким». Не погиб наш папа, живой, а не с нами.

А Катин папа подходит ко мне, приседает на корточки и говорит с улыбкой, протягивая мне руку:

– Ну, барышня, будем знакомы. Виктор Иванович.

– Люда, – говорю я охрипшим голосом.

– Очень приятно, – Катин папа пожимает мою руку.

– А маму мою Лидой звать. Да, мама? – говорит Вовка.

– Да, да! – смеется Катина и Вовкина мама и подхватывает сына на руки.

– Пусти, – сопит Вовка. – Рубаху помнешь.

Все смеются. Катя показывает подарки: ленты, новую, очень красивую куклу.

– Мама, можно, я Люде ленту подарю? – спрашивает Катя.

– Не надо мне! – кричу я, страшно смущаясь. – У меня волосы короткие.

– Конечно, можно, – говорит с улыбкой тётя Лида. – А что волосы короткие, не беда. Мы сейчас Людочке бант завяжем.

– Выбирай, какую хочешь, – предлагает мне Катя разноцветные атласные ленты.

– Не надо, – пытаюсь я опять отказаться.

Но тётя Лида сама выбирает для меня широкую красную ленту.

– Ну-ка, подойди! – зовет она меня и завязывает на моих волосах большой бант. Потом подводит меня к большому старому зеркалу с пожелтевшим от времени стеклом.

– Нравится?

Я вижу в зеркале свое красное лицо, торчащий хохолок жестких медных волос, огромный красный бант. Кажусь себе с ним неуклюжей и смешной, всё равно как Вовка в белой панаме. Тороплюсь к выходу. Первым делом, выйдя за дверь, стягиваю с волос бант и зажимаю его в кулаке. Вот так хорошо.

Катя теперь редко приходит к нам. Не хочет отходить от своей мамы. Подруга сказала мне, что скоро ее родители опять поедут на юг и увезут с собой Катю и Вовку. Наверно, это будет не так скоро, утешаю я себя.

В воскресенье мама говорит нам с Женей:

– Сегодня пойдем в магазин, кое-что для школы посмотрим.

Да, ведь в этом году я пойду в школу! Это и радует меня, и немного пугает. Мне всё время кажется, что в школе спросят что-то такое, чего я не знаю.

И вот мы в магазине. Знакомый запах одеколона, мыла, кожаной обуви. Мне нравится бывать здесь. Я могу часами стоять у витрины с игрушками. Но сейчас мы идем в отдел тканей. По талонам, которые мама получила в школе, покупаем мне материал на школьную форму, а Жене – на рубашку и брюки. А еще мы покупаем карандаши, стальные перья для ручек, чернильницы-непроливашки. Они только так называются – непроливашки, а на самом деле вечно Женина сумка, а то и книги с тетрадками заляпаны чернилами. Еще как проливаются они из этой непроливашки.

– Я свое сама понесу! – заявляю я.

– Я свое – тоже сам, – говорит Женя.

Довольные, идем мы домой. Мне не терпится поделиться радостью с Катей, показать ей то, что купили.

Дверь бабушки Егоровны закрыта на большой висячий замок. «Ладно, потом приду», – решаю я и вприпрыжку спускаюсь с крылечка. Но тут вижу, как в калитку медленно входит Катина бабушка. Одна. И тяжелое предчувствие вдруг сковывает меня. Егоровна гладит меня шершавой ладонью по голове и говорит:

– Скучно будет теперь тебе без подружки.

– А Катя где? – спрашиваю я, холодея от непоправимой беды.

– Поехала Катечка на юг. Села в поезд и покатила с мамой, папой и Вовочкой, – Егоровна прижимает конец платка, которым повязаны ее волосы, к глазам.

– Бабушка, – прошу я, едва сдерживая слезы, – не плачьте!

– Да я не плачу. Это просто от старости слеза выступает.

Егоровна устало опускается на нижнюю ступеньку крыльца и безмолвно сидит, уронив на колени темные, все в синих жилках и морщинах руки. Я обхожу ее и бегу домой.

– Что с тобой? – спрашивает за обедом мама, трогая прохладной рукой мой лоб. – Может, ты спать хочешь, доченька?

– Нет, не хочу, – говорю я тихо. – Катя уехала.

– Уже уехали? – удивляется мама. – Ну что же поделаешь, Людочка? Дети должны жить с мамой. В этом году Кате в школу. Вот и увезли ее, чтобы не отрывать потом от учебы, не менять школу... Можно найти другую подружку. Вот Валя, Костина сестренка...

– Не говори мне, мама, про нее, – прошу я, – она ему не сестренка, а чужая. И она противная, я не хочу с ней дружить.

– Зачем ты так? – заступается мама за Вальку. – Ты ведь ее и не знаешь совсем. Просто у Вали несладкая жизнь, ничего хорошего она не видит. Ты у меня добрая девочка. Нужно пожалеть ее.

Несколько дней после отъезда Кати я хожу вялая и безучастная ко всему на свете. Если бы Катя была сейчас здесь, думаю я, я отдала бы ей все свои игрушки. И даже любимую куклу Олю... Я прижимаю к щеке подарок подруги – блестящую алую ленту, и слезы текут по моим щекам, капают на ленту, оставляя на ней темные пятна.

В следующее воскресенье мама ушла куда-то и вскоре вернулась. За руку она держала мачехину дочку. Вид у Вальки был такой испуганный, что мне даже стало ее жаль. Я подошла к ней и, глядя исподлобья, сказала:

– Пойдем, я тебе свои игрушки покажу.

Валя покорно пошла за мной.

– Это кукла Оля. Хорошая, правда?

– Правда, – тихо сказала Валя.

– А это мишка. Как живой, да ведь?

– Да ведь, – как эхо прозвучал Валькин голос.

Я вскочила на ноги.

– Зачем ты говоришь «да ведь»? – закричала я. – Надо просто сказать «да». Поняла?

– Поняла, – сказала Валя и заплакала.

– Ты что? – испугалась я Валькиных слез. – Не плачь. Хочешь, я тебе что-нибудь подарю?

– Нет, – покачала головой Валя.

– А во что ты хочешь играть? – спросила я.

– Не знаю.

– Давай в дочку-маму. Ты будешь моей дочкой. Я буду тебя кормить, поить, спать укладывать. Поняла?

– Поняла.

– Только знаешь, Валя, ты мне не отвечай моими словами.

А то мне тебя слушать противно.

У Вальки опять повлажнели ресницы. Я перестала ее одергивать. А когда мама позвала нас пить чай, мы вовсе разошлись. Мачехина дочка оказалась совсем неплохой девчонкой. Я узнала, что Валя на год старше меня, но тоже в этом году пойдет в первый класс.

Теперь каждый день мы с Валею играли. Конечно, она не могла заменить мне Катю, но все-таки с ней было веселее, чем сидеть дома одной.

А первого сентября все четверо – Костя, Женя, Валя и я – пошли мы в школу.

Уроков, уроков задают... Чуть не полстраницы крючков и палочек надо писать. Но вот последний крючок и последняя палочка. Эх, где теперь Катя?

Я вдруг вспоминаю Егоровну. Как ей, наверное, скучно одной в пустом доме. Что бы мне такое для нее сделать?

Вспоминаю, как мы с Катей испортили бабушкино лоскутное одеяло. Три года, оказывается, Егоровна собирала на него лоскутки. Бегу к ящику с игрушками. В картонной коробке у меня хранится целая куча цветных лоскутьев. Пойду и все до одного отдам бабушке, решаю я.

Егоровна сидит на крылечке, как будто не уходила отсюда все эти полмесяца.

– Бабушка, – говорю я, немного волнуясь, – вот, возьми-те! – и протягиваю ей коробку.

– Что это, зачем? – спрашивает Егоровна, с удивлением разглядывая тряпочки.

– А помните, мы с Катей ваше одеяло порезали...

Егоровна слабо улыбается.

– Не надо, милая, спасибо. Мне Лида новое одеяло привезла. А то, лоскутное, я под матрац постелила, чтобы костям мягче было.

Я сижу с Егоровной на ступеньке крыльца, положив коробку на колени. Золотой-золотой день. Небо голубое, чистое. В воздухе плывут легкие серебристые паутинки.

– Вот и кончилось летечко, – говорит со вздохом Егоровна.

Я смотрю на нее с недоверием. Нет, лето не кончилось. Вон как тепло на улице, как ласково светит солнышко. Деревья густо усыпаны желто-зелеными листьями. А в палисаднике у Егоровны вовсю цветут настурции и георгины.

Нет, оно не кончилось, и еще не скоро кончится это долгое, теплое, ласковое лето.



БОГОРОДИЦА, ИСУСИК И ДРУГИЕ

Самый главный и самый первый хороший человек для меня – моя мать. Я и сейчас сверяю многие свои поступки по маме. И успокаиваюсь при мысли: мама поступила бы на моем месте так же, и терзаюсь от сомнений: не хватило мне в данном случае выдержки. Или такта. Или терпения. Или доброты...

А еще мне повезло на соседей. Жили мы на тихой окраинной улице маленького городка. Знали не просто пофамильно или в лицо всех в округе, но и были в курсе всего, что волновало, печалило или радовало соседей. Приходили на помощь друг другу, отдавая порой последнее.

Годы прошли, столько лет, а бывшие соседи дороги мне, словно кровно родные. И когда кто-то из них уходит из жизни, от известия этого долго саднит на душе.

Счастлива я и дружбой с настоящими преданными людьми. Счастлива, что пронесла через годы радость общения с ними.

Однако, оглядываясь на прошлое, я совсем не намерена таять от умиления: ах, какие все люди, которых я знала, были хорошие! Всякие встречались: злые, несправедливые, просто чёрствые, которым нет дела до чужих переживаний. Но, говорят, в природе всё разумно. Так, может быть, и эти самые плохие тоже не зря на земле живут, а как живой пример для неподражания? Важно только, чтобы всегда рядом с ними были хорошие и чтобы их было больше.

К чему это я? А вот к чему. Один период своей жизни, а точнее, своего детства – детдомовский – я привыкла считать чёр-

ным. Но сейчас, когда добрая половина жизни прожита, мне вдруг по-иному взглянулось на мое детство.

Вспомнила детдом и его обитателей. Сначала взгрустнулось. Застарелые обиды в памяти ожили, но уже не чёрные, поседевшие от времени. А потом заголубело, потеплело на сердце. И вот уж розовая заря в полнеба разлилась. Богородица вспомнилась. И Исусик... Но, наверное, лучше обо всем по порядку.

1

Наша мама неожиданно тяжело заболела. Утром она не смогла встать с постели. А мы-то с братом знали: если такое с мамой случилось, то это настолько серьезно, что и подумать страшно.

– Игорь, – обратилась мама к моему брату как к старшему из нас двоих, – забеги перед школой в поликлинику, вызови врача на дом, не могу встать, совсем ноги распухли.

В тот же день маму увезли в больницу. А на другой день мы с братом сидели на стуле возле маминой больничной койки. Двух халатов в санпропускнике не нашлось, и нам с Игорем выдали один на двоих. Стул, между прочим, в палате был тоже один. Так мы и сидели на нем белым двухголовым существом.

Мама дождалась, пока медсестра вышла из палаты, и кивнула на тумбочку, стоящую у кровати:

– Я там кашу от обеда вам оставила... Только ложка одна. Ну как-нибудь, по очереди ешьте.

Игорь, стыдливо озираясь по сторонам на других больных, достал из тумбочки тарелку с холодной овсяной кашей. Ложка мне, ложка ему. Торопливо уплетали мы скользкую овсянку, боясь, как бы кто из персонала больницы не заглянул в палату. Со вчерашнего вечера ничего не было у нас во рту.

– Да как же вы будете без меня? – спросила мама. – Я, наверно, долго проваляюсь.

Игорь поставил пустую тарелку в тумбочку, спросил:

– Мама, а что у тебя болит?

Мама пошевелила белыми пальцами.

– Вот, видите, руки какие тонкие, а ноги наоборот – как брёвна разнесло. Поправилась на одну половину, – невесело пошутила мама. Потом вздохнула: – Война всё...

Она помолчала, потом сказала:

– Не знаю, ребятки, что и делать. Может, в детдоме поживете? Доктор советует мне в детдом вас пока определить. Ну а что делать? Придется. Не будете же голодать. Да и зима началась. Печку надо топить утром и вечером. А где же вы натопите? Да и вообще... одни в доме. Бедные вы мои детки...

Поникшие шли мы с братом домой. Игорь размышлял вслух:

– Война... При чем тут война? Она уж вон когда кончилась, больше трёх лет назад. И голода сейчас такого нет. Хлеба сколько хочешь и картошка есть, и капуста. Кашу, видишь, в больнице какую дают, с маслом.

Я молча кивала головой. Прав Игорь, во всем прав.

– Ну и что, поедем в детдом? – спросила я робко.

– А что делать? – сказал брат совсем по-маминому.

Насчет детдома очень скоро договорился главврач больницы, в которой лежала мама. Для нас даже выделили привычную для того времени санную упряжку с полусонным сивкой-буркой.

На прощанье мама притянула меня и Игоря к себе, прикусила губу и отвернулась. Потом пошарила рукой под подушкой.

– Ох, чуть не забыла. Денег вот заняла немного для вас. Спрячь, Игорёк, подальше, не потеряй. Может, пригодятся на что. Зря не тратьте.

Игорь затолкал помятую десятку в карман штанов.

– Ладно, мама, ты поправляйся скорее. О нас не беспокойся, – сказал брат, будто взрослый.

– Чего об них беспокоиться? – поддержал его дед Василий, которому поручили отвезти нас в детский дом. – На всё готовое едут. И оденут их в приюте, и обуют, и сыты будут каждый день. Там так же, как в больнице, только вольней.

– Вы уж, Василий Кузьмич, не заморозьте ребят в дороге, – попросила мама.

– Эге! – весело сказал старик. – Гляди, еще жарко будет. Я полные розвальни сена настелил да овчинный тулуп из дома прихватил. Не хуже, чем на русской печи покатым.

– Как Емеля-дурачок? – вспомнила я недавно слышанную от мамы сказку.

Брат укоризненно ткнул меня в бок, а взрослые, в том чис-

ле и мама, рассмеялись. Только все весело, а мама как-то грустно, болезненно скривила губы.

Под тулупом действительно, несмотря на мороз, было тепло. Ехали мы с братом лёжа, утопая в сене. Край тулупа, которым укрыл нас Василий Кузьмич, побелел от инея. На волосах, выбившихся из-под моего платка и шапки Игоря, на наших ресницах тоже осел иней.

– Не замёрзли, воробьи? – спрашивал изредка дедушка Василий.

– Жарко, – отвечал Игорь.

– Это не страшно, жар костей не ломит, – говорил старик. – Скоро, версты через две, привал сделаем, – продолжал он. – Сами горяченького похлебаем и конягу подкрепим малость. Путь-то еще неблизкий.

В деревенской закуской накормил нас дед гороховым супом, напоил горячим чаем, а потом задержался у буфета.

– Вяленый язь, – произнес Василий Кузьмич, причмокивая губами, – знатная штука. Кинь-ка мне, милая, рыбины три, – обратился он к сонной и медлительной буфетчице.

Игорь следил за «клювиками» весов, за пальцем буфетчицы, стреляющими костяшками счетов.

– Семь рублей, – тётка шлёпнула язёй на прилавок. – Бумаги нету, заворачивать не во что.

Кузьмич сгреб в пятерню рыбы хвосты.

– Донесем без завёртки, было бы што нести, – и обернулся к нам. – Пошли, воробьи.

– Подождите, – попросил Игорь и шагнул ближе к весам.

– Тётя, и мне три рыбины.

Вяленые язи шлёпнулись на прилавок. Буфетчица, подавив зевоту, сказала:

– Семь рублей. Бумаги нету.

Игорь, засунув сдачу с маминой десятки в карман, обеими руками собрал рыбу с прилавка.

– На что вам в приюте рыба? – спросил старик с укоризной в голосе. – Язь с пивом хорош или с отварной картошкой. А там вас, поди, будут строго по режиму кормить, как у нас в больнице.

– Да я не себе, маме, – сказал Игорь. – Вы передадите ей, дедушка? Мама рыбу любит.

– Пошто не передать? Передам, раз такое дело, – пообещал дед Василий и отчего-то пригорюнился. А потом вдруг сердито закричал на лошадёнку:

– Спишь, зараза, на ходу?! На мыловарню захотела?

Я подумала, что после такой угрозы коняга сразу прибавит шагу, но лошадь шла всё также, ни шатко ни валко, и розвальни плавно скользили по наезженной дороге. Мы с Игорем не заметили как уснули. Проснулись от хрипловатого голоса деда Василия.

– Ну вот и Варварино. Где он тут, ваш приют, или как его по-настоящему, детдом?

К детскому дому – длинному барaku со множеством окон – мы подъехали уже в сумерках.

– Новеньких привезли! – крикнул кто-то пронзительным голосом.

Захлопали двери, на крыльцо высыпала ватага ребят. И несмотря на резкий женский крик «Куда раздетые?», никто из девчонок и мальчишек не двинулся с места. «Сколько? Какие?» – слышались голоса. И стоящий впереди всех мальчишка отвечал:

– Двое, вроде. Ну да, двое. Пацан и девчонка... Фу ты, я думал, маленькие. Нет, большие уже.

Нас, подталкиваемых сзади Кузьмичом, обступили ребята.

– Ступайте, ступайте, – ласково напутствовал нас старик. – А я пойду. Тут у меня свояк живет. Переночую у него, а завтра утром – домой. Рыбу я вашей мамке передам, не сумлевайтесь.

Дед Василий тронул вожжи и пошел рядом с розвальнями. А у меня стали мокрыми глаза. С уходом старика словно оборвалась ниточка, связывающая нас с родным городком, с мамой.

Захотелось разреветься в голос. Только неожиданно яркий свет коридора, куда нас втащили ребята, помешал, да сами ребята отвлекли расспросами.

Нас хотели было покормить, но мы отказались. Есть не хотелось, клонило ко сну.

– Э-э, да они спят на ходу, – сказала воспитательница, которую ребяташки называли Зоей Ивановной. – Да и всем уже спать пора. Давайте быстро по спальням!

Тут мы до утра расстались с Игорем. Почему-то я не думала, что на ночь нас с братом разлучат. Дома у нас была всего одна комната. И спали мы в ней все трое: мама, Игорь и я...

От матраца и подушки, набитых сеном, пахло розвальнями деда Василия. Примешивались и другие запахи: чистого лежального белья, мыла и каких-то лекарств. Я вспомнила маму, больницу, всплакнула немного и не заметила как заснула.

2

А потом состоялось более близкое знакомство с новыми друзьями. Как мы узнали, детдом этот только-только организовали, и первая группа ребят вселилась сюда всего за три недели до нашего с Игорем приезда.

Из взрослых здесь были: воспитательница Зоя Ивановна, одноногий завхоз Степан Никитич да повариха Тоня. Со дня на день ждали приезда директора, пока что никому не известной Клавдии Осиповны Лوماкиной. Назначена на эту должность она была с момента основания детского дома, но что-то задерживало ее в городе.

Детдомовцев вместе со мной и братом насчитывалось на первых порах четырнадцать человек. Четверых ребят Анисимовых, осиротевших в годы войны, сдала в детский дом их бабушка. Галю и Олега Двоглазовых доставил сюда милиционер. Отец этих ребят погиб на фронте, а мать, которая работала продавцом, посадили в тюрьму за недостачу, как сказала мне после Галя. Особняком держались двое деревенских мальчишек – Мишка и Кешка. Были они постарше других, было им уже по тринадцать лет. Может быть, потому так и важничали, на наши игры и ребячью возню смотрели снисходительно.

Была здесь еще болезненно-застенчивая девочка Зина Коровина, худенькая, большеглазая, вся в золотушных коростах. И еще – трёхлетняя Любочка, самая маленькая и потому всеми опекаемая. Старшие девочки любили возиться с Любочкой, умывать ее, одевать, укладывать спать, водить за ручку в туалет и столовую.

Мы жили такой небольшой семейкой, и было нам в детдоме хорошо. После уроков в школе каждый занимался чем хо-

тел. В первые дни мы с удовольствием изучали и осматривали наш новый дом, ходили по длинному гулкому коридору, заглядывали в пустующие комнаты, засиживались в библиотеке, отыскивая самое-самое интересное. Впервые я прочитала тогда о приключениях деревянного мальчишки Буратино и решила, что это лучшая в мире книга.

Читать мы любили в столовой. После ужина, когда уже отключали электричество от сельского движка, повариха Тоня приносила сюда две-три керосиновые лампы, ставила их на длинный голый стол, и мы лепились у этих ламп, забираясь с ногами на стулья. Тоня сидела с нами. Иногда она тоже читала книгу, но чаще вязала на спицах или пряла куделю.

Тоня... Почему мы все звали ее просто по имени и обращались к ней на «ты»? Было нашей Тоне, может, тридцать, может, за тридцать. Мне было трудно судить о возрасте взрослых. Но, думаю, что была она не моложе наших воспитателей и директора Клавдии Осиповны, которая вскоре приехала в детдом. Но вот всех мы звали по имени-отчеству, а Тоню просто Тоней. Почему?

Ей можно было говорить «ты», как отцу и матери, как самому близкому человеку. Ее любили, ей доверяли все и безоговорочно. Она старалась накормить нас посытней и повкусней. Мы видели не раз, как приносила она что-то из собственного дома. Однажды кончились в детдомовской кладовой жиры, и Тоня прихватила из дома крынку смальца. Я до сих пор не знаю толком, что кроется под этим загадочным словом, но наша повариха именно так называла тот светло-желтый вкусно пахнущий жир, которым сдабривала супы и каши. А как-то в воскресный день нам вдруг выдали на завтрак манный пудинг с малиновым вареньем.

– Наварила литров тридцать, – говорила Тоня так, словно оправдывалась за что-то, – а есть некому. Сама я не великая охотница до сладкого, а в доме, кроме кошки, никого. Да и та варенья не ест. – И вздыхала: – Гриша мой сладкое любил. Особенно после бани. Намешает, бывало, с холодной водой, пьет и нахваливает... К чаю тоже. Вот и варю каждое лето. А то заявится мой муженек домой, а на стол и поставит нечего будет.

Мы уже знали, что Тоне еще в сорок четвертом на мужа при-

несли похоронку. Но она, рассказывали, не заплакала, не заголосила на всё село, как другие бабы.

– Не видела я Гришу мёртвым, не хоронила. Мало ли чего напишут. Там, на фронте, тьма тьмущая народу, немудрено застряться. Ранили – может быть, но чтоб убили, не верю, – говорила она.

Так и не поверила той черной бумаге. Сосед, бывало, кивнет на Тонин домишко: чего-то он на сторону заваливаться начал, подправить бы надо. Тоня махнет рукой, скажет беспечно:

– Совсем не завалится. Постоит еще. Придет Гриша и подправит.

Односельчане поудивлялись, посудачили о нездоровой, как казалось им, этой уверенности Тони в том, что муж вернется, да и привыкли, замолчали.

Долгое время жила наша повариха без всякого прозвища, а их мы давали всем, иногда вовсе несуразные и даже обидные. Это уже после, когда новенькие в наш детдом прибыли, Тоню Богородицей окрестили. Митя Наумов так ее первый называл. Так и пошло: Богородица да Богородица.

Вообще-то новичками оказались не они, а мы – все те четырнадцать девчонок и мальчишек, что находились в детдоме. А эти шестьдесят провели в детских домах уже не один год. Кое-кто попал туда с самого рождения. Все эти ребята были из одного переполненного детского дома, расположенного в областном центре. С открытием детдома в Варварино их из города перевели в село. И нашей веселой жизни сразу пришел конец.

А ведь мы с нетерпением ждали приезда этих ребят. И когда неуклюжий автобус подкатил к воротам детдома, мы высыпали на крыльцо радостные, возбужденные. Валом валили мимо нас девчонки и мальчишки, кто не замечая, кто задирая нас на ходу.

– Насчет пожрать тут, наверно, не очень, – бесцеремонно сказал какой-то долговязый пацан, оглядываясь на нас. – Ишь, какие они все дохлые.

– И чо-то все в коростах, – сказал другой, с гримасой отворачивая разглядывая Зину Коровину.

Последние слова заглушил громкий смех приехавших. Зина втянула голову в плечи, часто-часто заморгала и попятилась к двери. «Почему они такие злые?» – подумала я о приехавших

ребятах. И стало ясно, что Зине, мне, да и всем нам четырнадцати, придется нелегко. Снова с прежней, угасшей было тоской вспомнилась мне мама.

Я пошла за Зиной Коровиной. Нашла ее в коридоре, прижавшуюся к стене, встала с ней рядом. Прикоснулась молча к Зиной руке, она отдернула руку и спрятала ее за спину.

– Деточки, – раздался рядом с нами вкрадчивый голос, – где тут у вас умыться с дороги можно?

Я оглянулась. Почти взрослый парень. Худощавый, высокий. Можно сказать, приятный. Только калека. Левая нога короче правой и вывернута ступней наружу. Я этого парня заметила еще когда он из автобуса выходил. Спрыгнул на землю, неловко крутнулся на здоровой ноге, поджав изуродованную левую и опираясь на самодельную резную трость. «Бедный», – подумала я тогда о нем с жалостью.

– Я тебе что, сиротка, представление бесплатное? Чего глазки вылупила? От тебя что требуется? Ответить на вопрос, где в этом заведении находится туалет, ну и умывальник тоже...

– Уборная на улице, – сказала я угрюмо, снизу вверх глядя на парня. – А умывальник вот тут, – ткнула пальцем на одну из дверей.

– Вот и умница, сиротка, – сказал долговязый.

– Я не сиротка! – отрезала я, наливаясь ненавистью к хромоту.

– Да уж нет, малышка, – сказал тот с кривой усмешкой. – Если Митя кому-то дал имечко, это железно. Поняла? С сегодняшнего дня ты у нас Сиротка, а подруга твоя, – он кивнул на Зину, – Коростой будет зваться. – Вскинул вверх трость, шаркнул уродливой ногой и ушел.

В тот же вечер случилась у меня еще одна неприятность. Войдя в спальню, я увидела, что на моей кровати лежит девчонка из вновь прибывших. Место, выбранное мной, мне очень нравилось. Кровать стояла в углу у стены. Рядом тумбочка, в которой я хранила зубную щетку, порошок, учебники, тетради и, главное, два маминых письма. Я остановилась у кровати, вопросительно посмотрела на девчонку, лежащую поверх одеяла.

– Чего смотришь, влюбилась? – спросила девчонка насмешливо, а потом догадалась: – А, наверно, ты тут спала, да?

Ну, поспала и хватит. Теперь я тут спать буду. Ясно? А ты вон туда иди, где барахло твое лежит. Видишь?

Остальные девочки были заняты своими делами: кто в порядок постель приводил, кто укладывал в тумбочку вещички, а кто и перед маленьким карманным зеркальцем наводил красоте. На меня даже внимания никто не обратил. Я поняла, что вступить в спор с девчонкой, захватившей мою кровать, бесполезно, тем более что была она на вид года на четыре старше меня. Поздно уснула я на новом месте. Не развеселило и наступившее утро.

С нетерпением все ждали линейки, на которой нам предстояло наконец-то познакомиться с директором детдома, а заодно и с прибывшими вчерашним автобусом новым воспитателем и пионервожатой.

Из слов директора Клавдии Осиповны запомнилось мне немного, хотя говорила она долго. О том, как заботится наше государство о детях. О нас, значит. Вроде бы хорошо говорила, но почему-то с самого первого раза чем-то не понравилась мне. Я смотрела на нее, и мне казалось, что говорила она одно, а думала совсем другое.

А вот пионервожатая Наташа мне сразу понравилась. Она засмушалась, покраснела и, всех оглядев, развела руками:

– Я думаю, ребята, мы будем друзьями.

Мы с ней действительно после подружились.

Тогда же, на линейке, был выбран староста детдома. Выбран не нами, а Клавдией Осиповной.

– Уверена, что лучшей кандидатуры на пост старосты, чем Дмитрий Наумов, не найти. Я присмотрелась к нему вчера в автобусе. Митя пользуется авторитетом среди товарищей, серьезный, да и старше всех воспитанников по возрасту. Так что быть ему моим первым помощником, – заявила директриса.

Митя вполне оправдал доверие Кобылы. Прозвище это – Кобыла – дал директору не Митя. Все в детдоме получали клички именно с его легкой руки, а Клавдию такой кличкой окрестили девочки. Кто-то, когда заговорили о директрисе, сказал: «Ну и лошадь», а Надька, та, что выжила меня с моей кровати, сказала: «Какая там лошадь, форменная кобыла». Так и приклеилось это словцо к Клавдии Осиповне.

Наши девочки неохотно дежурили на кухне, а мне нравилось помогать Тоне. Да и работа здесь – чистка картошки, мытье посуды – была для меня делом знакомым, домашним, напоминала о маме. И даже когда все дела были переделаны и Тоня предлагала мне побегать на улице, подышать воздухом, я иногда просила:

– Можно, я посижу с тобой? Я не буду мешать.

Тоня живо соглашалась:

– Сиди, конечно, если хочется. Чего тут мешать-то? И мне веселей, когда душа живая рядом. А то ведь, не поверишь, иной раз с котлами и сковородками разговариваю. Не могу я долго молчать. Мысли разные в голову лезут... Что-то ты, Танюша, смурая в последнее время стала. Или случилось что? В школе-то как, в порядке? Двоек нет?

– В школе в порядке, – отвечала я. – А двойки у меня еще никогда ни одной не было. И троек нет... Просто домой сильно хочется.

– А ты терпи, Танюша, терпи. Поправится мама, бог даст, и придет за вами. И вот, я скажу тебе, девонька, ты веришь там, не веришь, а когда-нибудь возьми да и помолись пред сном Богородице. Скажи так: «Богородица-заступница, пожалей ты меня и моего братца, подними нашу мамоньку, от болезни избавь». Детская молитва святая, чистая, авось и дойдет до Боженьки... Я, Таньча, сама сроду в Бога не верила. Да нашлись добрые люди, надоумили. Мне, когда на Гришу похоронку принесли, сон привиделся. Будто стою я на краю крутой горы и гляжу вверх. А там, на вершине, мой муж, Гриша. Я сама подняться к нему не могу, ноги не слушаются, и его зову не дозовусь. Смотрит он будто в мою сторону, а меня не видит. И вдруг начал Гриша в землю уходить. Сперва по колено, потом по пояс, по грудь. Тут как кинулась я наверх, схватила Гришу за руки и этак легко рывком выдернула из той погибельной земли, да и скатились мы с ним вниз с горы на зеленую лужайку... Проснулась я тогда, сердце колотится, вот-вот выскочит из груди. Едва утра дождалась, побежала к Марье Федотовне – старушке одной – сон разгадывать. Федотовна у нас мастер по этой части.

Вот она мне и сказала: «Живой твой мужик, Антонина. Только раненый, а может, и контуженый какой. Бывает, отшибет в контузии память человеку, он и не помнит ни тяти, ни мамы, ни откуда родом. Ты давай-ка, – сказала мне еще Федотовна, – спасай своего Гришку, молись за него денно и ночью. Вишь, как по сну выходит: гора – это горе. И он, Григорий твой, – говорит Федотовна дальше, – на волоске от гибели, а ты его с горя вызволила, сдернула с горы на лужайку. Зелень к радости снится, к спокойствию. Молись только». С тех пор и молюсь. Какие молитвы от старух выучила, какие сама составляю. Помолишься, и легче на душе, и верится: вернется Гриша. Живой он.

В тот вечер перед сном и я молилась. Глаза зажмурила, накрылась одеялом, будто сплю, а сама истово заклиная Богородицу: «Боженька, миленькая, если ты есть, сделай так, чтобы мамочка моя родненькая скорее поправилась, чтобы приехала за нами с Игорем и увезла нас домой. Да и Гриша Тонин, если живой, пусть поскорее возвращается к Тоне. Война уж когда кончилась. Верни ему память, Боженька, пусть про Тоню вспомнит и приезжает».

4

В детском доме событие. Приехали из города три тётеньки-портнихи и уже два часа как обмеряют нас. К Новому году будут шить нам обновки: мальчишкам штаны и рубахи, девчонкам – платья. Материю мы уже видели. На штаны – чёрная, чёртова кожа называется. Хорошая материя, крепкая. На рубахи – розового цвета с тоненькой коричневой полоской. А нам на платья – красивый голубой ситец в крупный белый горох. Ничего, что все в одинаковом ходить будем. Зато сразу видно: детдомовские. Попробуй кто тронь нас. Я, например, когда дома жила, ужас как мальчишек боялась, если случалось куда одной идти, без Игоря. А по Варварино могу свободно хоть куда пойти и на деревенских мальчишек даже внимания не обращаю. Это свои, в случае чего, поколотить могут, а чтоб деревенские – ни за что.

Вскоре в детском доме всюду: в коридоре, в красном уголке, в столовой и даже в спальнях картинки, плакаты, лозунги повесили. Это всё Клавдия Осиповна. Гору плакатов с собой из

города приволокла и всех старших ребят работать заставила. Несколько дней они вырезали, клеили, вешали эту красоту на стены. А незнакомый приезжий дяденька, от которого постоянно несло водкой, на длинных полосах бумаги написал разные надписи и «Правила поведения».

А что, даже интересно. Теперь то картинки про закаливание детей посмотришь, то стихи считаешь. Они в коридоре сразу у входной двери висят. Хорошие стихи. «Разувайтесь все у входа. Обувь ставьте всю в углу. Вытирайте чище ноги, не сорите на полу». Плохо только, что вскоре кто-то из ребят в слове «сорите» подскоблил одну букву и переправил на другую. Стихи долго висели в таком виде. Не читали их, наверно, ни директор, ни воспитатели.

В столовой были картинки, рассказывающие о глистах и заражении дизентерией. Интересно было во время еды их рассматривать. Правила поведения, вывешенные в красном уголке, состояли из двадцати шести пунктов. Мало кто из ребят дочитал их до конца. Но я добросовестно прочла все пункты от первого и до последнего. Почувствовала неловкость, когда прочла: «Если взрослый человек чихнет, пожелай ему доброго здоровья». Легонько толкнула в бок свою новую подружку Галю Двоеглазову и, фыркнув, повторила фразу вслух.

– Что за смех? Отчего развеселилась, Ракитина? – услышала я за своей спиной строгий голос Клавдии Осиповны.

– Просто так, – сказала я, насупившись.

– Да нет, не просто! Откуда эта издёвка в голосе? От большого ума, что ли? А может, наоборот?

Неожиданно во мне вспыхнула злость, захотелось надерзить. Я посмотрела Клавдии Осиповне прямо в глаза и сказала:

– А моя мама говорит, что если кто-то чихнет при тебе, особенно если это чужой человек, лучше сделать вид, что ты этого не заметил.

– Твоя мама этого не го-во-рит, – сказала отдельно Кобыла, наливаясь гневом. – Она тебе это дома говорила. А здесь ее нет. Есть воспитатели, администрация детдома, есть правила и требования, которые все воспитанники, и ты, Ракитина, в том числе, должны выполнять. Поняла? А что касается твоей мамы, то она, видимо, просто так же невоспитанна, как и ты.

От этих слов на мои глаза навернулись слезы.

– Ну вот, – сказала директриса, – вижу, что кое-что до тебя дошло.

Она ушла, а мы с Галей остались стоять у «Правил».

– Кобыла просто дура, – сказала Галя, желая утешить меня. – Ты на нее внимания не обращай.

– Сама она невоспитанная, – я размазывала рукой злые слезы. – Ты знаешь, какая у меня мама!.. Если бы ты только знала.

– Мамы все хорошие, – согласилась Галя. – Мою маму Митя воровкой называет. Я бы этого Митю... Я бы ему, падле, вторую ногу вывернула.

– Митю тоже жалко, – вставила я.

– Жалко, – согласилась Галя. – Но всё равно нельзя быть такой падлой. А мама, знаешь, у меня какая? – продолжала Галя. – Она в жизни ничего чужого не брала, ни вот столько, – показала Галька кончик своего мизинца. И вдруг – растрата. Почему это может быть, а? – спросила меня подруга дрогнувшим голосом, и глаза ее потемнели, стали тоскливыми.

Я ничего не могла ей ответить. Такой Галя бывала редко. Обычно она была смелой, смешливой, веселой. Ее побаивались даже те девчонки, что были постарше нас с Галей. А в подруги почему-то она выбрала меня. Наверно, потому, что я всегда внимательно слушала ее и от души сочувствовала ей.

5

Кормили нас в детдоме четыре раза в день, но, несмотря на это, есть хотелось постоянно. С нетерпением ждали мы полдника, потому что давали на него всегда одно и то же: молоко и булочки, которые пекла Тоня. Маленькие, пухлые, как сказочный колобок, подрумяненные до коричневости и ароматные. В жизни не ела я ничего вкусней. Да что там булочки... И хлеб, который нам давали, был особенным.

Пекарня стояла на краю села. Ежедневно по вечерам человек двадцать пять воспитанников детдома отправлялись за хлебом. Каждый получал по буханке. Через всё Варварино, с одного конца на другой, мы несли теплые булки, прижав их обеими руками к груди. Через двойные байковые рукавицы и даже

через пальто на вате согревало нас тепло свежеиспеченного хлеба. А как от него пахло! Невозможно было удержаться от того, чтобы не отщипнуть хотя бы маленький кусочек от этой растрескавшейся, вывернутой наружу, ну совсем лишней корочки. Стоило только начать, и уж ничто не могло нас удержать. Так все буханки, пока мы добирались до нашего дома, оказывались ощипанными с одного бока.

Ребята выстраивались с хлебом в очередь к кухонной двери и из рук в руки передавали буханки Тоне, которая укладывала их на полки окрашенного белой краской деревянного шкафа.

Каждый из нас старался повернуть булку так, чтобы не было видно объединенного бока. Но Тоня, конечно же, видела всё. Она только качала головой, выговаривала нам негромко:

– Ох, проверит Клавдия Осиповна утром, греха не оберешься, опять ругаться будет.

Клавдия Осиповна действительно на линейке или во время завтрака в столовой ругала нас, называя дикарями, и грозились, что если подобное повторится, то так просто «пожиратели хлеба» не отделаются.

Все мы привыкли к этим постоянным угрозам как к чему-то неприятному, но совсем не опасному, и каждый день всё с хлебом повторялось. До тех пор, пока директриса не обратилась за помощью к Мите.

Митя не пошел с ребятами за хлебом, он просто коротко сказал:

– Если кто булку обожрет, я тому вот этой палкой, – он поднял свою трость, – на башке фокстрот сыграю.

В тот вечер ни одна буханка не пострадала, ни одна корочка не отвалилась «сама собой». Клавдия Осиповна была довольна.

Были у Мити верные дружки – «святая троица», как окрестила их Тоня, – Борька и два Кольки. По именам этих мальчишек называли редко, а в основном звали, как и Митя, по кличкам: Заяц, Колун и Пестик. Другей Митя не обижал, им он давал необидные прозвища. Другим ребятам везло меньше. Тихого и щуплого Витьку Опёнкина ни за что ни про что прозвал Вонючкой. И нередко, если случалось Витьке оказаться поблизости от Мити, тот морщил нос, брезгливо вздергивал губу и говорил, обращаясь к своим телохранителям:

– Чем это здесь так плохо пахнет?

Все трое на этот вопрос отвечали веселым ржанием, а бедный Витька, сделавшись на глазах у всех еще меньше, забивался в угол, подальше от Мити и его дружков.

Ребята – за глаза, правда, – звали эту троицу Митиными шестёрками. Мне девчонки постарше объяснили, что шестёрка – это дерьмо на побегушках, подай это, сделай это. Именно такими и были лучшие Митины приятели. Один из них должен был подавать Мите стул, другой чистил Мите ботинки, третий доставал в деревне табак. И все трое наушничали своему «шефу» о других ребятах, а Митя, в свою очередь, – директорисе.

После моего «знакомства» с Митей в день его приезда мне с ним долгое время сталкиваться не приходилось. Девчонок он вообще задевал редко. Только прозвище, данное мне Митей, запомнили все. И потому, когда меня называли Сироткой, я с новой силой ненавидела Митю. Казалось, что каждый раз этим словом убивали мою маму. «Ведь она живая, живая!» – хотелось мне крикнуть так, чтобы раз и навсегда покончить с этим дурацким прозвищем. А я молчала. Только внутри меня что-то сжималось и холодело, да колючий комок застревал в горле.

А потом – дело было уже в марте – Митина власть задела и меня. Вернее, не меня, а моего брата Игоря. Но это одно и то же.

Не было в детском доме для меня человека дороже брата. Он был с самого раннего детства и моей нянькой, и верным защитником. Еще дома, когда мама работала, всё время я проводила в играх с братом. Куда бы он ни пошел, всегда следом за ним, как хвост, тащилась и я.

В детдоме я почувствовала, что Игорь начал сторониться меня. Нет, я знала, что его любовь ко мне не ослабела. Мы виделись с Игорем мельком. И помнится, как однажды я пожаловалась брату на какую-то обиду. Игорь быстро оглянулся по сторонам – нет ли кого? – ласково улыбнулся и неумело погладил меня по голове.

– Потерпи немного, – сказал он, – мама скоро поправится.

Как-то после обеда, когда все выходили из столовой, Митя сказал со злостью:

– Ох и надоели мне эти компотики, эти кашки-супчики. В по-

погребу целая бочка соленых огурцов, а ни хрена не дают. Куда берегут? Пропадет же всё и выкинут весной на помойку...

Чем закончилась Митина речь, я не знала. Только часа через два меня разыскала Галя Двоглазова и зашептала на ухо:

– Твой Игорь уже давно в погребу сидит. Мне Олег сказал. Его туда Митя за огурцами загнал. Дверь-то в погребу на замок закрыта, так Игорь через верхний люк пролез. Узел с огурцами пацаны на шпагате из погреба вытянули, а Игорю наверх никак не выбраться. Только ты никому не говори, – предупредила меня Галя, – а то Митя Игорю пригрозил, что если он проболтается, кто его за огурцами послал, Митя его в сортире утопит. Вот.

Я сорвалась с места, накинула наспех на голову и плечи пальто – шапка куда-то подевалась, а искать ее не было времени – и побежала к погребу, который находился на хозяйственном дворе рядом с сараями и конюшней, где жил наш детдомовский конь Чалый.

Я добралась до открытого люка, который находился на крыше погреба, покрытой слоем земли и дерном. В холодное время люк накрепко задраивали, а когда не было морозов, открывали для проветривания погреба.

Я посмотрела на люк и удивилась: как это Игорь умудрился протиснуться через такое узкое отверстие? И представила Митины холодные глаза. Если он прикажет, пролезешь.

– Игорь! – позвала я. – Где ты, Игорь?

– Чего тебе? – ответил брат грубовато.

Я ничуть не обиделась на эту грубость. Поняла, что Игорю плохо. Как-то надо ему помочь, подумала я. Но как?

– Игорь, надо сказать, чтобы тебя выпустили, – сказала я.

– Нет! – громко ответил брат, неразличимый в темноте погреба.

– Ты не бойся, – сказала я. – Митя только пугает. Он не утопит тебя в уборной.

– Да отстань ты! – крикнул сердито Игорь, и я поняла, что он плачет.

Мне тоже захотелось разреветься, но я сдержалась. Молча спустилась с крыши погреба и побежала к единственному близкому взрослому человеку, к Богородице.

Тоня, выслушав меня, всплеснула руками.

– Ой, что только делается! Плохо, что ключа от погреба у меня нет. Не доверяет Клавдия Осиповна, – усмехнулась Тоня. – Делать нечего, придется к ней идти.

– Тонечка, – попросила я, цепляясь за ее руку, – только ты про Митю ничего не говори, ни слова! Ладно?

– То ли я не понимаю, – сказала грустно Богородица, – не скажу.

Следом за Тоней я подобралась к директорскому кабинету и прислушалась. Слов Богородицы не было слышно. Но гневный голос Клавдии Осиповны доносился из-за двери.

– Кто, говоришь, Ракитин? Вот тебе и домашнее воспитание. Коренные детдомовцы не лезут никуда, не воруют, а этот из дома без году неделя и – пожалуйста!

Мне стало больно, обидно, но я успокоила себя: пусть хоть что говорит, лишь бы поскорее выпустила Игоря из погреба, не замерзать же ему там.

А потом проступок моего брата разбирали на общем собрании. Митя прямо пришиб всех своей наглостью. После уничижающей речи Клавдии Осиповны предложили высказаться ребятам, осудить безобразный поступок Игоря. Как ни призывали старшие ребята встать и «заклеймить позором вора», никто выступить не захотел.

Клавдия Осиповна обратилась к Мите:

– Может быть, хоть у старосты найдется что сказать?

Митя встал и откашлялся.

– Много говорить не буду, – произнес он, – но скажу одно: на фронте за такое поставили бы к стенке.

Митя сел. Не то ропот, не то просто гул пронесся среди ребят. Клавдия Осиповна сказала:

– Спасибо, Митя. Я вижу, что все воспитанники поддерживают твои слова и разделяют твоё негодование... У нас, правда, не фронт, расстреливать мы никого не можем, но я хочу предупредить Ракитина и ему подобных, что еще один такой поступок, и я оформлю материал на провинившегося в колонию для малолетних преступников. Не хватало еще воров в нашем здоровом коллективе.

После собрания Митя задержался у выхода, а когда с ним

поравнялся мой брат, Митя дружески положил руку на его плечо и сказал с улыбкой:

– Нет, вы посмотрите, такой хороший с виду мальчик, а вздумал воровать. Артист, ну и артист! Постойте, ведь у нашего Игорька имечка настоящего нету до сих пор. Непорядок. С этого дня быть ему Артистом.

Так Игорь получил кличку. Хорошую, что и говорить. Не то что Вонючка, Короста или Гнида.

Я понял, в чем заключался секрет хорошего Митино настроения и его расположения к Игорю. В том, что тот взял всю вину на себя и ни словом не обмолвился о Мите. А меня всё тревожил вопрос: ну почему взрослые, такие умные, такие грамотные, не видят, не понимают, кто действительно виноват в этой истории? Почему так поддерживает Митю Клавдия Осиповна? Неужели только из-за его старых заслуг, потому что был он сыном полка?

При случае среди ребят Митя любил покривляться: у нас на фронте, у нас в полку... Когда же мальчишки приставали к нему с просьбой рассказать что-нибудь о фронтовой жизни, о подвигах, которые, конечно же, совершал Митя, он презрительно улыбался:

– Кому рассказывать? Вам, салагам, крысам тыловым? Много ли поймете?

Пацаны, смущенные, замолкали. Что тут возразишь? Им не довелось повоевать, как Мите. Слишком малы еще были они в войну. И не им, а ему осколком гранаты повредило ногу. Не им, а Мите. Может быть, потому ему так много прощалось.

6

Однажды, когда мы, детдомовские, шумной гурьбой возвращались из школы, кто-то из ребят крикнул:

– Ого, какой, смотрите! – и все обратили внимание на огромного рыжего с белыми пятнами на боках и спине быка. – Его к нам в детдом гонят! – крикнул тот же мальчишеский голос.

А мы уже и так видели: в детдом. Наш старый одноногий завхоз Степан Никитович придерживал рукой калитку, а какой-то незнакомый дядька в брезентовом дождевике, надетом по-

верх фуфайки, загонял быка в детдомовский двор. Бык оказался огромным, могучим, но не страшным, очень мирным. Мы проводили его на зады двора.

Ребята спешно побросали в красном уголке, где выполняли домашнее задание, сумки, портфели и высыпали на улицу. Смотреть на быка. Все обрадовались, что он появился в нашем хозяйстве.

– Будем ухаживать за ним, гонять на пастбище, – решили мальчишки.

Я уже упоминала, что был в детдоме Чалый – старый облезлый конь. Но не припомню, чтобы на нем что-то возили. Разве что позже, летом, когда опухоль на узловатых его суставах опала, начали впрягать конягу в телегу, чтобы навозить сена ему же, Чалому, на корм.

На заднем дворе вокруг быка собрались уже все работники детского дома. Пришла и Клавдия Осиповна. Не было здесь только Богородицы и пионервожатой Наташи. А теперь и ребята нахлынули сюда, окружив быка плотным кольцом. Был здесь и дядька в дождевике, пригнавший быка. В руках он держал почему-то колун.

– Детишек отослать бы надо, – сказал он Клавдии Осиповне.

– А-а, – махнула та коротко рукой. – Это жизнь. Она им еще и не такое преподнесет. Пусть смотрят, тут они хоть все на глазах, и можно быть уверенным, что за это время не сожгут детдом. Давайте!

Грязно-серый дождевик двинулся к быку. Не знаю, что почувствовали в этот момент другие ребята, но мне стало вдруг очень страшно и захотелось бежать отсюда. Я почувствовала, что должно произойти что-то ужасное, но еще не знала толком, что именно.

Никто из ребят не двигался с места. Может быть, причиной тому были слова Клавдии Осиповны? Осталась и я.

Дядька остановился перед самой мордой быка, взмахнул колуну и, громко крикнув, с силой ударил им в лоб животного. Из бычьего горла вырвался хриплый рёв. Бык качнулся, передние ноги его подогнулись, и он тяжело опустился на грязный подтаявший апрельский снег.

В голове моей помутилось, перед глазами всё поплыло.

Наверное, я бы упала, если бы меня не отвлек резкий болезненный крик. И я, и все остальные повернули головы на этот крик. На мокром снегу корчилась в припадке Катя Соловьева.

Про Катю мне рассказывали девочки. Ее папа погиб в первые дни войны, а мама в толпе беженцев решила выбраться подалее от фронта с четырехлетней Катей на руках. В дороге эшелон с беженцами разбомбили фашистские самолеты. А когда после налета собирали убитых и раненых, под телом мертвой матери нашли нашу Катю, которая едва не задохнулась под тяжестью трупа. После этого долго – год или больше – в детдоме, куда привезли девочку, ее били припадками. Обычно случались они по ночам. Катины соседки по детдомовской спальне каждый раз вскакивали с постелей и бежали за дежурным воспитателем.

Потом девочку вылечили, а вот сейчас припадок у Кати повторился. Мы не знали, что делать.

– Фельдшера надо! – крикнула Клавдия Осиповна. – Ну-ка, мальчики, кто-нибудь живо сбегайте в медпункт!

Но от детдомовского корпуса простоволосая, в галошах на босу ногу бежала к нам Богородица. Она властно отстранила от Кати воспитательниц и директрису, как будто только она одна и могла помочь, опустилась перед Катей на корточки и сказала:

– Девочка ты моя милая! Что же это делается, а? Господи, господи...

Тоня взяла Катю на руки, легко поднялась с ней во весь рост и сказала, с осуждением глядя на Клавдию Осиповну:

– Вам это зачтется, помяните мое слово, зачтется. Бог не потерпит такого, чтоб вот так над детьми измываться.

– Иди, иди! – прикрикнула грубо на Тоню Клавдия Осиповна. – Не корчь из себя юродивую. Тоже мне... Богородица. Мы с тобой о твоём Боге и лично о тебе не здесь, у меня в кабинете беседуем... забивает головы воспитанников религиозным дурманом.

А Тоня была уже далеко. С притихшей Катей на руках подходила она к двери своей кухни.

На следующий день я дежурила на кухне. Богородица, гремя кастрюлями, разговаривала по привычке сама с собой.

– Ой, нет, нет! Что же это делается? Целого быка растащили, как крысы, а на кухню – одну требуху. И кого обобрали? Си-

рот горемычных. Нет, хватит с меня. Хва-а-тит! Уйду я. Сколько можно глядеть на всё это безобразие! Нет больше моего терпения. Уйду!

От этих слов я заплакала, вытирая слезы посудной тряпкой. Как жить дальше, думала я, если Богородицы не будет в детдоме?

Тоня вдруг обратила внимание на мое сопенье и всхлипывание и кинулась ко мне.

– Ты чего это, девонька?

– Если ты, Бого... ой, если ты, Тоня, уйдешь... – я не договорила, разревелась пуще прежнего.

Тоня обняла меня сильной рукой, прижала к своей груди и неожиданно засмеялась.

– Вот и эта туда же. Директорша вчера Богородицей назвала, теперь ты. Это вы, стало быть, прозвище мне такое дали? Мыслимое ли дело! Грех ведь это, поди-ка, – она поглаживала меня по плечу, и я видела, хоть и выговаривает Тоня за «Богородицу», а лицо ее так и светится от удовольствия. – Богородица, – повторила она с улыбкой и сказала: – Ну, да Господь всё поймет и простит. С глупого да малого какой спрос?

И заглянула мне в лицо.

– Э-э, наревела глаза. Поди умойся. Не уйду я, Таньча, никуда. На кого вас всех оставлю? На эту? Уж нет! Ее надо гнать отсюда метлой поганой.

Но не прошло и получаса, наверно, после нашего с Тоней разговора, и я только-только успокоилась до конца, как Тоню вызвали к директору. Обычно если что надо было – распорядиться насчет продуктов, узнать, готов ли обед, – Клавдия Осиповна заглядывала на кухню сама. А тут притопала Зоя Ивановна и сухо сказала:

– Антонина Степановна, вас Клавдия Осиповна вызывает.

– Ох ты, страсти-мордасти какие, – пробурчала себе под нос Богородица, потом вытерла руки о фартук, взялась было за тесемки с намерением развязать их и снять фартук, да передумала, махнула рукой: и так сойдет.

Очень долго не возвращалась Тоня из директорского кабинета. Я переделала в кухне всё, что могла: домыла посуду, выскоблила большим широким ножом деревянные разделочные

доски, протёрла столы и до блеска отдраила стиральной содой алюминиевую мойку для посуды. А когда Тоня вошла в кухню, я уминала веселкой тесто в большой глиняной корчаге.

– Лезет и лезет, – сказала я о тесте слегка виноватым голосом. Тоня запрещала нам близко подходить к своим кастрюлям и котлам, когда в них что-то готовилось.

На этот раз, обведя быстрым взглядом кухню, она сказала:

– Ай да умничка! Вот это хозяйшюшка! Хорошо, видно, мамка воспитывает вас с братом. Вишь, какую помощницу себе вырастила.

Я расцвела от Тониной похвалы, а она принялась проворно разделявать тесто. Насыпала на чистый стол небольшую горку муки, разровняла ее ладонью.

Я следила за мельканием Тониных рук. Вот она оттянула левой рукой клейкое тесто, взмахнула правой, в которой держала нож, и уж летит на стол, шлёпается в муку белый колобок. Просто удивительно, до чего одинаковы эти колобки по размеру. Так вот как получаются знаменитые Тонины булочки! Вот бы научиться делать такие самой...

– Чего сидишь? Ну-ка помогай! – опять веселым голосом кричит мне Тоня. – Руки чистые? Давай, обваливай колобочки в муке, катай, вот так, и на противень сажай. Только не лепи друг к дружке, оставляй место для расходу.

– Какого расходу? – спрашиваю я.

– Обыкновенного. Тесто в печи от жару расходиться начнет, пухнуть. Раза в два каждый колобок больше станет. В пампушках-то что внутри? Во-оздух. Потому они и пухлые такие.

– Тоня, – говорю я робко, укладывая колобки на металлический лист, – зачем она тебя вызывала?

– Вызывала зачем? – Тоня еще проворнее, даже яростнее, что ли, шлёпает на стол кусок теста за куском. – Ругала. Что ей остается делать? Кричала, что не пе-да-го-гично поступаю, плохо влияю на воспитанников. А еще требовала, чтобы я извинилась перед ней при всех на линейке. Иначе, мол, выгонит меня с работы.

Искоса я поглядела на Тоню. Нет, не смогла я представить ее лепечущей слова извинения.

– Я ей извинюсь, уж я ей извинюсь! – опять с какой-то веселой злостью в голосе пообещала Тоня.

С замиранием сердца ждала я в тот день вечернюю линейку. Как, интересно, будет извиняться наша Богородица? Но на линейке ее не оказалось вовсе. Тоня ушла домой сразу после ужина.

Клавдия Осиповна была невозмутима. Как и всегда, она дала свои «наставления». Витальке Круглову напомнила, что если его постель утром опять окажется мокрой, он будет сушить матрац и стирать простыни сам, тут ему нянек нет. Олега и Вовку отчитала за то, что курят, да еще тайком, в постели. Если сами сгорят, сказала она, так туда им и дорога, но так ведь можно спалить весь детдом. Тем линейка и кончилась.

А на следующий день Тоня на работу не явилась. Обед с большим опозданием приготовила нам какая-то тётка. То ли на самом деле всё было невкусно, то ли так казалось, но почти во всех мисках остался суп, а пшеничную кашу вообще никто есть не стал, потому что она была горькой и пахла гарью.

Когда эта новая стряпуха заглянула в столовую, пацаны зашумели и устроили барабанный бой ложками по металлическим тарелкам. Тётка быстро попятилась к двери и убралась из столовой.

– Дома-то я сготовлю, пальчики оближешь, – оправдывалась она перед явившейся на шум директрисой, – а тут такие котлы, к ним приноровиться надо. Одно недоложил, другое переложил, вот и...

7

От мамы что-то долго нет писем. Когда мы прощались с ней в больнице, она обещала: «Я вам, детоньки мои, часто-часто буду писать. Если не письма, так хоть немного, на открытках». Было страшно так думать, а думалось: если мама так долго не пишет, значит, с ней что-то случилось.

В тот день я часто выбегала за ворота детдома, смотрела на дорогу, ждала Тоню. Среди ребят прошел слух, что она поехала зачем-то в город. Тоню я не дождалась, но увидела почтальоншу тётю Машу, которая с сумкой, перекинутой через плечо, шла к нашим воротам. Без всякой надежды я спросила:

– А Ракитиным нет письма?..

– Ракитину Игорю, что ли? Это брат? Есть. Вот кому пишут! чуть не каждый день. Два дня назад письмо было, и вот опять.
– Нет, нам не было, – сказала я. – Уже девять дней ничего нет от мамы.

– Ну как не было? – возразила тётя Маша. – У меня, слава богу, с памятью в порядке. Говорю же, два дня назад было вам письмо. Не так уж много пишут детдомовским, чтобы не запомнить. Ракитиным, – начала перечислять почтальонка, – Двоглазовым изредка, Рубцовой Лене, Анисимовым, Меньшикову Коле, ну и еще редко-редко кому. Знаю я всех вас. Ты спроси-ка у директорши, ей лично я почту отдавала. Такое ее распоряжение. Неужто она забыла вам с братом письмо передать?.. А может, брату отдала?

– Да нет, – помотала я головой.

– Ты спроси, – сказала мне еще раз тётя Маша, входя в детдомовскую калитку. И позвала меня: – А вообще-то пойдем со мной, я сейчас ей, Клавдии Осиповне, сама напомню про письмо.

Надо было бы, конечно, поскорее бежать разыскать и обрадовать брата, но я пошла следом за тётей Машей в служебный корпус и остановилась перед дверью директорского кабинета в ожидании, пока меня позовут. То-то обрадуется Игорь, если я принесу ему сразу два письма от мамы.

Вскоре тётя Маша вышла из кабинета, кивнула мне с ободряющей улыбкой и пошла по коридору к выходу.

Клавдия Осиповна крикнула мне из-за закрытой двери:

– Ракитина, войди!

С бьющимся сердцем я переступила порог ее кабинета.

– Так. Ну что, как дела? – спросила она меня.

Я почувствовала, что краснею, и пожала плечами. Директриса, прищурившись, рассматривала меня, словно видела впервые, потом сказала:

– Мне сообщили, что ты вчера вечером что-то там про меня говорила, будто я Тоню вашу зря обижаю. Так, что ли? Ты отдаешь себе отчет, кто есть ты и кто я? Рановато вам еще поступки взрослых обсуждать, а тем более – о-суж-дать! Сопливые еще! – сказала она громче и стукнула ладонью по столу.

Потом отвернулась к окну, постояла молча. Я все думала о

мамино письмо и боялась о нем спросить. Клавдия Осиповна вдруг резко повернулась ко мне с кривой усмешкой на губах:

– Вы, говорят, всем какие-то клички даете? Старого завхоза нашего, Степана Никитича, как прозвали? Блохой, что ли? За то, что он хромает, прыгает на своей деревяшке, так? Глупо и бессовестно. Человек на войне, еще на той, гражданской, ногу потерял, а вы... Ну ладно... И мне тоже прозвище дали? Какое же? Ну, что ты молчишь?! Говори! Я ведь знаю, дали! Как вы там меня окрестили? Лошадью, что ли?

Я чувствовала, что лучше бы мне промолчать, но ненавистное лицо Клавдии с приоткрытым ртом и длинными желтыми зубами придвинулось ко мне почти вплотную, настолько, что я почувствовала запах табака. Директриса курила тайком, но об этом знали все. Пол как будто качнулся у меня под ногами, к вискам прилила горячая волна. Я подняла лицо и, глядя ей в глаза, сказала:

– Нет, не Лошадью, Кобылой.

Клавдия Осиповна отпрянула, распрямилась, покраснела. Она смотрела на меня с нескрываемой неприязнью, потом выдала тихо:

– Уходи.

Но тут же улыбнулась. Мне всегда было не по себе от этой ее улыбки. Затем она повернулась к стене, почти сплошь залепленной открытками, выбрала одну из них, сняла ее и, повернув к себе исписанной стороной, пробежала глазами текст.

– Тут вот вам с братом на днях пришло письмо от матери, но открытка, как видишь, недетского содержания. Отдавать ее вам я считаю непедагогичным.

Я успела разглядеть на открытке, пока Кобыла читала ее, молодую парочку. Она была заключена в нарисованное сердце. А внизу надпись: «Люби меня, как я тебя». Ну и что? Видно, другой открытки не оказалось у мамы под рукой.

– Смотреть тут не на что, читать тоже нечего, – продолжала между тем Клавдия Осиповна. Она отставила открытку, брезгливо поджала губы, еще раз пробежала глазами текст. – Мамочка пишет, что как только поправится, тотчас приедет за вами. И это, насколько я знаю, можно прочитать в каждом ее послании. Я уверена, что и в том, которое ты держишь сейчас в руках,

написано то же самое. Так что я порву эту открытку. Поняла? Ты ее не получишь.

С этими словами Кобыла действительно разорвала открытку пополам, потом сложила половинки и разорвала их еще раз.

– Всё! Иди.

Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не разреветься в кабинете. Когда же выскочила за дверь, несколько шагов крепилась, а потом так и хлынули из глаз слезы. Я прижалась к стене и дала им волю, уткнувшись в рукав кофты.

– А-я-яй! – услышала я над головой. – Это кто же нашу Сиротку обидел? – Конечно же, вкрадчивый голос принадлежал Мите.

Еще один, которого я ненавижу, особенно после истории с огурцами.

– Сам ты сиротка! – крикнула я отчаянно. – У меня мама есть, а у тебя – никого! Шпион, предатель!

Митя в один прыжок оказался рядом. Я не успела увернуться от его цепкой руки. Он сгрёб сзади ворот моей кофты так, что я закашлялась. Митя ослабил воротник и сказал ласково:

– Дурашка, еще одно грубое слово, и я задавлю тебя, как маленького сопливого лягушонка, так что твоя больная мамочка даже перед смертью своей не сможет взглянуть на любимую дочурку. Ступай! – Митя несильно ткнул меня в шею, но я, не удержавшись, упала на пол.

– В ногах ты, Сиротка, слабовата, – сказал язвительно Митя. – Наследственное это, видать, у вас. У матери ведь тоже с ногами что-то?

Мама, моя мамочка!.. Митя давно уже скрылся за дверью директорского кабинета, а я сидела в наступивших сумерках на полу у стены пустого коридора и плакала. Першило в горле, от рыданий, казалось, вот-вот разорвется грудь. Всё внутри у меня хрипело и нестерпимо колело в левом боку, под рёбрами. Мне казалось, что если я не перестану плакать, то тут же умру от этой боли. Но ничего не могла с собой поделать. «Мама-то моя что им сделала? – думала я о Мите и Кобыле. – Ведь они совсем, совсем не знают ее!»

Хлопнула входная дверь, послышались ребячьи голоса, в коридор ввалилась толпа мальчишек. И сразу же рыдания мои

прекратились. Я поднялась на ноги и, судорожно всхлипывая, направилась к выходу, отворачиваясь к стене и прикрывая распухшее от слез лицо руками.

От кучки ребят отделился Игорь, подбежал ко мне и быстро спросил:

– Ты чего реवेशь? Кто тебя?

– Вот письмо, – сказала я, протягивая брату конверт.

– И... что там? – спросил Игорь со страшной тревогой в голосе.

– Я не знаю, не читала. Мы ведь договорились...

Мы с братом договорились: если письмо от мамы отдадут кому-то из нас, никогда не читать его в одиночку, а обязательно разыскать друг друга и – только вместе.

– Ну, давай! – брат выхватил у меня конверт, надорвал его и начал читать письмо про себя, потому что вокруг стояли ребята и смотрели на нас.

– И чего ревели? – сказал Игорь. – Мама пишет, что поправляется, уже вставать с постели начала.

Мой рот так и растянулся в улыбке. Мальчишки вокруг загалдели, кто-то ободряюще хлопнул брата по плечу, кто-то легонько толкнул в бок меня: порядок! И на сердце у меня потеплело, и боль в боку отступила. Друзей-то намного больше, чем врагом, подумала я. Вот только Тоня. Где она теперь?

Тоня объявилась утром и принялась хлопотать на кухне как ни в чем не бывало. С очень внушительным видом к кухне прошествовала Клавдия Осиповна. Отворив дверь, она сказала Тоне громко, так, что слышали все, кто находится поблизости:

– Та-ак, вот еще и прогульчик ко всему прочему совершила. Как только подыщут вам замену, работать вы у нас, Звягинцева, не будете.

Богородица гремела кастрюлями, чугунами и ничего не говорила. Только несколько дней спустя мы узнали, что Тоня ездила в город жаловаться на Кобылу. В детский дом нагрянула проверка. Представители районо, две женщины, побывали во всех уголках детдома. Они подолгу разговаривали со взрослыми, а также с ребятами старшего возраста.

Потом комиссия уединилась в директорском кабинете, обложившись бумагами, которые все уважительно называли до-

кументами. Спустя несколько дней приезжие тётки незаметно исчезли из детдома, и жизнь наша продолжалась так же, как и до проверки. Разве что Клавдия Осиповна очень изменилась. Не слышно было, чтобы она распекала кого-то в последнее время. Перестала она заглядывать на кухню. И не стала проводить обязательные ранее вечерние линейки.

Приходя утром на работу, Клавдия Осиповна хмуро здоровалась с нами, потом уединялась в своем кабинете и, проведя там в одиночестве часа полтора-два, исчезала нередко до конца дня.

Зоя Ивановна и Дина Ильинична ходили с озабоченными лицами, говорили вполголоса и умоляли мальчишек вести себя прилично. А к нам, в девчоночьей спальне, стала чаще заглядывать пионервожатая Наташа. Сначала мы пристрастились вместе с ней читать вслух книги. Собирались все девчонки в нашей спальне, так как была она самая большая. Забирались по трое-четверо на кровать, застланную байковым одеялом, и слушали, как читала Наташа. Эти вечера очень сблизили нас. Прекратились всякие ссоры.

А как-то Наташа притащила холщовый мешочек с разноцветными нитками.

– Вот, от моей бабушки остались, – сказала она грустно. – Бабушка умерла, а кроме нее в доме никто не вышивает. Давайте поучимся вместе. Материала, правда, нет, но ведь у каждого есть полотенца...

Девочки с рвением взялись за дело. Выявились среди них прямо-таки художницы. Сначала на бумагу, а потом на полотенца наносили они узоры, на которых расцветали цветы и пели райские птицы.

У меня ничего не получалось. Наташа посмотрела на мои напрасные старания и сказала:

– Таня, давай я тебе пока просто надпись на полотенце сделаю. Поучишься стебельчатым швом вышивать, а когда руку набьешь, гладью или крестом попробуешь.

Я согласилась, и Наташа написала по краю моего полотенца: «С добрым утром, Танечка!» У меня сладко заныло сердце. Танечкой меня мама обычно называла.

А потом мы увлеклись – опять же с Наташиной легкой руки – изготовлением мягких игрушек. Тут всё пошло в дело: по Ната-

шиной просьбе притащили в детдом свои старые дырявые вещи и наши воспитательницы, и Богородица, да и сама Наташа пожертвовала на общее дело свое школьное пальтецо, из которого давно выросла. Чего только мы не нашли: и кукол, и зайцев, и смешных медвежат, и поросят. А потом... Потом Наташа сообщила, что к нам в детдом приезжает новый директор. Вот это была новость так новость!

8

Случилось так, что приезд нового директора, Ивана Захаровича, мы прозевали. Накануне вечером еще ничего не знали о нем, а утром нам объявили: после завтрака пройдет короткая пятиминутка, на которой состоится знакомство с новым директором.

Я доедала густую горошницу с маслом и думала: «Какой он? Поскорее бы посмотреть».

Дежурные еще не успели убрать со столов посуду, когда в столовую вошел Иван Захарович. Я так и впилась в него глазами. Худой, высокий, в темно-синем костюме. Хмурый с виду, неулыбчивый. Кожа на лице желтая, под глазами темные круги. Окинул всех неторопливым взглядом, сказал негромко:

– Здравствуйте, ребята. Садитесь.

Сердце мое забилося учащенно: вроде добрый, хороший! В тот же день старшие мальчики по распоряжению Ивана Захаровича снимали чуть не все лозунги и плакаты Кобылы, стихи о чистоте, «Правила поведения» и другое. Солитеров с аскаридами из столовой тоже унесли.

А еще через день нам, несколькими ребятам, довелось побывать у Ивана Захаровича в кабинете. Дина Ильинична во время обеда объявила, заглядывая в бумажку:

– Двоглазые, Ракитины, Морозов, Рубцова, Меньшиков, как только пообедаете, зайдите в кабинет директора.

Сердце мое по привычке ёкнуло. Ведь раньше к директору вызывали только на разнос. Но тут же подумалось, что ничего плохого с нами на этот раз не случится. И осталось только любопытство: для чего вызывает нас Иван Захарович? Гуськом вошли мы в кабинет и остановились у двери, сбившись в кучу.

– Проходите, ребята, садитесь на диван, на стулья, кому где удобнее, – сказал директор.

Это было ново для нас. Клавдия Осиповна никогда садиться не предлагала. Сама-то она, если хотела, сидела, а мы должны были стоять перед ней навытяжку, сколько бы ни длилась беседа. Исключение делала директриса разве что для Мити.

– Я вот что хотел спросить, – продолжал Иван Захарович. – Почему адресованные всем вам открытки оказались на этой стене?

Тут я заметила, что стена, которая еще недавно была густо залеплена открытками, стала голой. И только многочисленные прямоугольнички выделялись на общем фоне голубоватым оттенком.

Все подавленно молчали. Иван Захарович взял со стола самую внушительную стопку открыток и спросил:

– Игорь и Таня Ракитины здесь?

– Да, – Игорь поднялся со стула.

– Возьми, это ваше... Двоглазовы?

Галя и Олег поднялись со своих мест одновременно.

– Заберите.

Раздал Иван Захарович и остальные открытки. Кому пять, кому три, Жене Морозову – одну, а в нашей пачке мы насчитали с братом шестнадцать открыток!

Иван Захарович оглядел нас усталым взглядом. Потом тяжело откинулся на спинку стула и начал расстёгивать ворот кителя. Почему-то долго не мог справиться с верхней пуговицей. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой:

– Ладно, идите, ребята. Попросите кто-нибудь Антонину Степановну, пусть мне стакан холодной воды принесет.

Я первой бросилась на кухню.

– Тоня, Иван Захарович холодной воды просит.

Богородица поспешно кинулась к бачку с водой.

– Видно, плохо ему? – спросила она с тревогой.

– Плохо, наверно, – сказала я.

В спальном корпусе уже шло обсуждение последних событий. Галю Двоглазову плотным кольцом обступили девочки.

– Вот Кобыла! – горячится Галька. – Представляете, мамка наша пишет нам, ответа ждет, а эта падла лепит себе открытки

на стену и помалкивает. Убивать таких надо... А вот и Танюха! – оживляется моя подруга еще более, завидев меня. – Им с Игорем вообще штук сто, наверно, директор отдал. Правда, Тань?

– Шестнадцать, – поправляю я ее.

– Шестнадцать?! – ахают девчонки. – Ничего себе.

– А мы всё с Игорем думали: что это мама нам редко пишет? – говорю я, ободренная поддержкой девчонок.

– Конечно, будет редко, если не отдавать письма, – горячатся они.

До самого вечера у меня было очень хорошее настроение.

А вот интересно: дадут или не дадут пацаны кличку новому директору? А если дадут, то какую? Мне, например, совсем не хочется, чтобы у Ивана Захаровича появилось какое-нибудь дурацкое прозвище. Проходит неделя, другая, а Иван Захарович всё еще просто Иван Захарович, и только.

Опять ввели у нас вечерние линейки. Правда, проходить они стали теперь по-другому. Раньше, бывало, нас выстраивали в три ряда вдоль стены в красном уголке, и воспитатели в течение нескольких минут выравнивали нас: «Встали в линеечку, в линеечку». Потому, я думала, и называются линейки линейками, что стоять на них надо, ровняя носки ботинок точнѐхонько по половицам пола, по линеечке то есть.

Иван Захарович, оглядев нас, сказал:

– Давайте не будем каждый день парадов устраивать. Мы же дома у себя. Сядем, поговорим по-домашнему, по-семейному, кто чем живет, кого что волнует. Садитесь, ребята, на стулья, размещайтесь поудобнее. И я вот тут присяду, – взял он крайний стул.

Пока мы рассаживались, к Ивану Захаровичу подошел Митя и протянул ему листок бумаги. Мы знали, что это рапорт, в который староста записывал наши проступки. Так уж повелось при бывшем директоре.

В рапорт староста нередко записывал такие небылицы, что мы, ребята, только диву давались. Просто если хотел Митя проучить кого-то из воспитанников за неповиновение или какую-то другую провинность перед ним, он придумывал и записывал в свой рапорт разные проступки. Клавдия Осиповна ни разу даже не подумала их проверить, и «виновных» наказывали чер-

ной работой или утомительным стоянием на ногах в красном уголке, в то время когда другие были заняты играми или чтением книг.

Конечно, проучить человека, чем-то не угодившего Мите, он мог и сам, без посторонней помощи. Но ему непременно надо было выставить «провинившегося» на общий позор. Все мы знали эту нечистую Митину игру, но не было случая, чтобы кто-то из ребят заявил, что это неправда, враньё, Митина прихоть.

Однажды в такой рапорт попала и я. Случилось это сразу после того, как я назвала Митю шпионом и предателем. После ужина мне понадобилось зачем-то сбегать в спальню. В темном тамбуре – вечно там перегорают лампочки – меня схватили чьи-то цепкие руки, сорвали с моей шеи пионерский галстук. А на следующий день в Митином рапорте появилась запись: «Ракитина потеряла галстук». Ох и досталось же мне тогда на линейке, и позже, на дружинном сборе. Ребята, казалось, искренне возмущались моим проступком, а я готова была провалиться от стыда, бессилья и – молчала. Даже лучшей подруге Гале не рассказала я о случае в темном коридоре, боялась Митю и его подручных.

Я долго потом мучилась: почему все мы, и я в том числе, молчим, позволяя Мите клеветать на любого из нас? И еще я думала: может быть, Митя просто забавлялся по-своему, сочиняя свои рапорты-небылицы, и издевался не только над нами, ребятами, но и над нашими воспитателями, дурачил их?

Так вот, на этот раз Иван Захарович взял из Митиных рук бумажку, пробежал глазами написанное и с недоумением спросил:

– Что это?

– Рапорт, – скромно сказал Митя. – Я как староста...

– И что, давно у вас практикуется такое? – спросил Иван Захарович.

– Давно. Как приехали, – сказал Митя.

Директор сложил бумажку пополам и вернул ее Мите со словами:

– Не пиши больше ничего подобного. Отменяю твои рапорты. Понял?

– Понял, – Митя криво усмехнулся, сунул бумажку в карман и отошел.

Уходили мы из красного уголка с легким настроением. «Может быть, теперь начнется в нашем детдоме совсем другая жизнь?» – думала я. А когда шли всей ватагой к спальному корпусу, я вдруг услышала Митин голос:

– Тоже мне Исусик нашелся, порядки наши ему не понравились. Терпеть таких не могу. Сразу видно, всю войну в тылу отсиживался. Люди на фронте кровь проливали, а такие, как Исусик этот, штаны в кабинетах протирали.

Исусик... Всё, огорчилась я, теперь Иван Захарович будет жить с этим прозвищем. Так оно и вышло. Сначала «Исусика» можно было услышать только от Митиной тройцы, потом словцо это стало проскакивать в разговорах других мальчишек и девчонок: Исусик велел, Исусик сказал, Исусик похвалил... Правда, беззлобно говорилось это, без насмешки, необидно. Так же точно звучало в устах ребят и настоящее имя директора. Для краткости, что ли, пользовались детдомовцы прозвищем или по глупой привычке? Я же всегда звала нашего директора только по имени-отчеству.

9

На Варваринских полях шла пахота. Старый трактор пыхтел, чадил, кашлял, но тащил плуг по еще сырому от недавно сошедшей талой воды полю. Отсидев томительные уроки в школе, мы неслись за околицу села и смотрели на работающий трактор, на скворцов, деловито выискивающих червей в черных жирных пластах земли.

Олег Двоглазов толкнул в бок Игоря, который стоял рядом со мной, и прошептал:

– Смотри, Исусик.

Иван Захарович подошел к толпе ребят и подобревшим взглядом смотрел на поле.

– А что, друзья, – сказал он, – не завести ли и нам свое поле или хотя бы огород? Создадим полеводческие звенья, старших выберем. Семенами, я думаю, колхоз поможет. И будет у нас осенью своя картошка-моркошка. Как, на ваш взгляд?

– А что, законно! – первыми поддержали директора мальчишки.

Потом и девчонки подняли со всех сторон писк:

– Ой, конечно, здорово! И лук, и горох, и репу надо посадить. Она сладкая.

Уже дня через два колхозный землемер отмерял для детдома деревянной саженью землю. И началось для нас золотое время. После школы, наскоро пообедав, все как один спешили мы на огород.

Последние дни занятий тянулись, казалось, бесконечно. Мы с нетерпением ждали конца учебного года, чтобы ничто не отвлекало нас от работы на огороде.

Весь участок, который выделил для детдома колхоз, нам пришлось перекапывать вручную, лопатами, потому что единственному трактору и замороженным лошаде́нкам хватало работы на колхозных полях. А нашего Чалого совсем доконал по весне ревматизм. Завхоз договорился до того, что предложил свести конягу на мясокомбинат и наделать из него колбасы. Мальчишки, особенно Кешка и Мишка, кричали и доказывали, что летом Чалый выправится, и польза от него в хозяйстве будет – ого! И воду для полива на нем можно будет подвозить, и овощи – осенью с огорода, и навоз будет свой для огуречных грядок. Так и отстояли Чалого. А пока он понуро стоял в сарае и глядел на всё из дверей печальными глазами.

Незаметные до сих пор мальчишки – Мишка Онучин и Кешка Чередов, над которыми еще недавно нередко подшучивали другие пацаны, превратились вдруг в уважаемых людей. Они хорошо знали всякую деревенскую работу. Даже сам Иван Захарович стал советоваться с ними, когда дело касалось огорода. И вот два полеводческих звена из четырех возглавили Кешка и Мишка.

Иван Захарович наравне с воспитанниками трудился на огороде. Эта работа на земле для него, коренного горожанина, была в радость. Вот он распрямился, пригляделся к девчужке, колдующей над грядкой, и сказал:

– Посмотрите, ребята, а ведь Зина ловко придумала – разлиновала свою грядку палочкой и морковку не вразброс сеет, а в бороздки. Подумайте, насколько легче будет выполоть сорняки на грядке, где морковь рядками прорастет.

Ребята подходят поближе, чтобы взглянуть на ставшую вдруг знаменитой Зинину разлинованную грядку.

И нелюдимая, всегда немного жалкая на вид Зина Коровина оживляется. Лицо ее от похвалы директора вспыхивает румянцем. Все, кто поблизости, смотрят на нее и вдруг замечают и нежный овал ее лица, и большие темные глаза. И такой нелепой кажется прилепившаяся к Зине кличка – Короста. Тем более, что никаких корост нет у нее давно уж и в помине.

– Молодец, – говорит ей Мишка Онучин. А его похвала тоже немало значит.

Девчонки тут же убегают на поиски щепок, палочек и начинают, как Зина, расчерчивать свои грядки. А у тихони Зины до самого вечера не сходит с губ улыбка.

Огород... Сколько радости, сколько открытий! Вот нашли в земле куколку – личинку какого-то насекомого. Она и вправду напоминает куколку, а еще больше – спеленутого младенца. Личинка переходит из рук в руки. Каждому хочется поддержать ее, рассмотреть. А потом завернутую в прошлогодний листок личинку осторожно присыпают землей: пусть живет, водится.

Вот срывающимся голосом кричит Виталька:

– Сюда, скорей! Смотрите!

Обступили его, напирают сзади: что там? Земля у Виталькиных ног оживает, вспучивается, вздымается бугорком. Виталька с опаской трогает бугорок носком ботинка.

– Вы что, крота сроду не видели? – говорит громко Кешка Чередов. Мы замороженно смотрим на шевелящийся холмик.

И тут... со стороны леса доносится незнакомый мне переливчатый звук. Он приближается, становится слышной. И я вдруг чувствую, как от этого звука начинает учащенное и тревожней биться мое сердце.

Как и все, я обернулась к лесу. Оттуда прямо на нас летела стая больших птиц. Вот они перестроились на лету, подровнялись и выписались на голубом небе острым клином.

– Журавли! – крикнул кто-то.

Мы смотрим на них, откинув головы. Летят над нашим огородом. Низко-низко. Кто-то из мальчишек поднимает с земли палку и, изогнувшись, с силой бросает ее вверх.

– Ты, дурак, по шее захотел? – одергивают его пацаны. Как будто можно попасть палкой в летящего журавля...

А клин уже далеко. И курлыкание журавлей всё глуше. Вот и растворились в небе над темным лесом. Оставили во мне грусть да желание: еще бы раз, хоть разочек в жизни увидеть так близко этих больших прекрасных птиц.

10

Вот и отсеялись и отсадились. Теперь на огород можно не заглядывать, пока не появятся всходы, не полезут сорняки. Занятия в школе закончились. Теперь мы целыми днями пропадем в лесу. Иван Захарович отпускает нас, только предупреждает, чтобы не ходили на болота, там могут быть трясины. Девочки слушаются директора. Да и зачем нам эти болота? Сразу за колхозным полем – лесок, а в нем есть всё, что нас интересует: колба, медунки, цветы. Начало июня. Распускаются огоньки. А еще, если повезет, можно найти крупные, очень красивые цветы, которые Богородица называет марьиными кореньями.

Медунки съедаем на месте. Надо только очистить сочные стебли от покрытой пушком кожицы, и – в рот. Колбу отнесем Тоне на кухню. Она нарежет ее, поджарит с жиром на сковородке, добавит сваренных вкрутую рубленых яиц и таких пирожков напечет с этой начинкой, пальчики оближешь! Сколько ни ешь – всё мало.

Мальчишки же так и норовят удрать к болотам. Потому что не разрешается ходить туда, что ли. А когда мы возвращаемся домой, нагруженные колбой и цветами, пацаны догоняют нас. Все они что-то тащат в своих картузах.

– Вон сколько мы колбы набрали, – говорю я Игорю.

– Колбы, – брат презрительно хмыкает. – Вот мы набрали, так набрали.

– Чего? – спрашиваю я.

– Яиц. Сколько гнезд на болотах, ужас просто.

– А чьи гнезда? – спрашиваю я.

– Утиные, чьи же еще, – говорит Игорь. – Подходишь – и прямо из-под ног утки вылетают. Здорово!

– А зачем яйца? – спрашиваю я опять.

– Как зачем? Отнесем Богородице, она на ужин яичницу сделает, а то и на пироги с колбой пойдут. Знаешь, сколько мы их набрали? Больше полсотни. Вот, поди, обрадуется Богородица, да?

– А как же утки? – спрашиваю я, глядя себе под ноги. – Вернутся к гнезду, а там ничего нет.

– Ерунда, – говорит Игорь. – Еще нанесут, если им надо.

Я успокаиваюсь. Если нанесут еще, тогда ладно. Но Тоня при виде мальчишеской добычи всплёскивает руками и кричит:

– Вы что же наделали, паразиты несчастные?! Яишницы им захотелось! Сколько птицы загубили. О том не подумали, что яйца эти давным-давно насижены. Утята из них вот-вот должны вылупиться, а вы...

– Да ну, – недоверчиво говорит Борька-Заяц.

Он берет одно яйцо и стучает им о край стола. Скорлупа легко лопается, разваливается, из нее на Борькину ладонь выливается мутная слизь с кровяными прожилками. Заяц брезгливо морщит нос и губы.

– Что за собрание? – раздается над нами голос директора.

– Ой, ой, Иван Захарович, вы только поглядите, чего они натворили! – горестно причитает Тоня.

– Понятно, – медленно говорит Иван Захарович. – Ходили всё-таки на болота?

Мы, притихшие, ждем грозы. Но директор, помедлив, решительно говорит:

– Ладно, что-нибудь придумаем... Антонина Степановна, вы нам и поможете.

– Как? Что надо делать? Назад, что ли, их тащить, эти яйца?

– Нет, конечно. Я не знаю, сколько именно, но нужно срочно достать кур-наседок. Бывает же, что квохчет курица, а хозяйка ее на яйца садить не хочет. Так вот, нам бы во временное пользование... Сколько надо наседок, как вы думаете?

– Пятьдесят два яйца, – размышляет вслух Тоня, – думаю, кур пять-шесть надо. Только зря всё это. Поди-ка, птенцы уже погибли без подогрева. Кто знает, сколько они, – Тоня кивает на притихших мальчишек, – с ними по лесу шарахались.

– Нисколько мы не шарахались, – говорит кто-то. – Как набрали – сразу домой.

– День сегодня теплый, – сказал Иван Захарович. – Может, и обошлось.

Тоня, накинув кофту и платок, побежала на село. А мы в это время сгрудились вокруг стола над картузами и фуражками и принялись усиленно дышать на яйца.

Тоня скоро вернулась и привела с собой пятерых женщин. В руках у каждой из них было по курице. Иван Захарович радушно улыбнулся им, сказал:

– Вот спасибо, не отказали!

– Но глядите, – предупредила одна из женщин, – как надобность отпадет, чтобы мне мою квочку – в целостности и сохранности.

– Только так, только так, – закивали остальные тётки. – Только с таким уговором и даем.

– Обязательно вернем, – успокоил женщин Иван Захарович. – Ну а в случае если хоть с одной наседкой что приключится, рассчитаемся с вами по всем правилам. Только, думаю, ничего случиться не должно. А, Антонина Степановна?

– Да ну, что им сделается, – ответила Тоня.

В закутке завхозовской кладовой поставили ящики, картонные коробки, настелили в них соломы и положили в устроенные лунки по десятку яиц. Три наседки, будто только этого и ждали, сразу сели на яйца, оставшиеся две для виду потоптались, принялись клювами подправлять кладку и гнездо. Но и эти наконец успокоились.

– Как бы зря их старания не пропали, – опять высказала сомнения Тоня.

– Испыток – не убыток, – сказал Иван Захарович.

Потом отобрали несколько девочек, которым предстояло ухаживать за наседками. Я первая напросилась.

Сколько было радости, когда уже через пять дней из семи яиц вылупились первые утята. Много хлопот доставили они и нам, и наседкам. Дело в том, что утята эти появились в разных гнездах. Одна из куриц решила, что ей незачем сидеть на остальных яйцах, из которых никто не выводится, и сошла с гнезда. Она ходила по полу кладовой нервная, взъерошенная, долбила клювом крупинку, громко призывала малыша к себе. А он сидел в коробке среди яиц, покачивался из стороны в сторону и совсем не спешил на ее зов.

Я бросилась к Ивану Захаровичу. Что делать? Он рассудил так: всех вылупившихся утят посадить к беспокойной этой курице, а яйца из ее гнезда поделить между другими наседками.

Удалось в общем-то это дело. Только одна из квочек, когда я подкладывала под ее бок яичко, с силой долбанула по нему клювом и разбила. Птенец, конечно, погиб. Но зато другие яйца мы подкладывали незаметно для наседок, когда они сходили с гнезда.

Дней через десять в нашем птичнике стало шумно и весело. Всего у нас вывелось сорок шесть утят! Только из пяти яиц, сколько их ни держали под наседкой, ничего не вывелось.

Что там огород. Вот где было настоящее дело! В наш птичник любили заглядывать все ребята, от самых маленьких до самых больших. Однажды даже Митя пришел взглянуть на утят. Он остановился у порога и с интересом стал наблюдать за птенцами. Они к тому времени покрылись серым пушком и стали прехорошенькими. И что было удивительно – каждый выводок тянулся за своей наседкой. Меня это умиляло. Малюсенькие, а такие умные.

Я посмотрела на Митю, и что-то увиделось в нем новое. Нет, он не совсем, наверное, плохой, этот Митя. Вон какое лицо у него сейчас подобрешее, и улыбка чуть приметная, слабая, но тоже добрая, а не ехидная, как всегда.

– Живут, – сказал Митя, ни к кому не обращаясь, и покачал удивленно головой.

Одна я была в кладовой и подумала, что это со мной Митя, как с равной, заговорил.

– А всё Иван Захарович, – сказала я, осмелев, – если бы не он...

Митя не дал мне договорить:

– Всё правильно, Сиротка! – воскликнул он дурашливым тоном, и на его тонких губах появилась примелькавшаяся всем язвительная усмешка. – Исусик, видно, знатный куроцуп. Вот тут он дока, ничего не скажешь. Ты права, Сиротка, всё – он!

– Дурак! – выпалила я и приготовилась к трёпке.

Но Митя с той же усмешкой сделал мне ручкой «салют» и вышел.

Когда утята немного подросли, их решили переселить из тесной кладовой. Возле сарая старшие мальчишки с помощью

Ивана Захаровича вкопали столбы и натянули на них старый рыбацкий невод, залатав в нем крепкими суровыми нитками дыры. Сюда же поставили сбитые из досок кормушки для утят и четыре оцинкованных корыта с водой: пусть плещутся в воде, сколько пожелают. Вдоль стены поставили ящики с отверстиями с одной стороны. Своим видом эти ящики напоминали собачьи конурки. В них утята смогут прятаться от непогоды или от назойливых глаз любопытных посетителей.

Через специально сделанную калиточку, также обтянутую сеткой, в выгул пересадили всех утят. А наседок в тот же день вернули их хозяйкам.

Прибавилось забот у нашей Тони. Надо было каждый день в отдельной кастрюле отваривать для утят крупу, готовить им мешанку из кухонных отходов, вареных яиц и рубленой зелени.

Любил в птичий загон наведываться и Иван Захарович. Иногда он ловил какого-нибудь утенка, подносил его близко к лицу, разговаривал с ним, словно с ребенком:

– Ну, как тебе тут, малыш, без мамки, без папки? Ничего, а? Детдом есть детдом. Обживешься, привыкнешь. – И отпускал со словами: – Расти большой!

11

Над Варварином летит самолет. Почему-то мальчишки называют его однокрылым. Ясно же видно – два у него крыла, слева и справа по одному.

Высыпали на улицу всем детдомом, подняли носы к небу, следим за самолетом. Митя Наумов тоже здесь. Опираясь на трость, подпрыгивает на здоровой ноге, чтобы лучше утвердиться на земле, провожает, как и все, взглядом самолет.

– На этот не страшно смотреть, да? – обращается Митя к своей троице, но слушают его все. – А вот на фронте, бывало, мессер или юнкерс вырулит прямо на тебя, прозеваешь чуток – та-та-та, прошьет из пулемета или бомбочку кинет, был – и нету. Там – смелый не смелый, герой не герой, как услышишь: «Воздух!» – падаешь, где стоишь, и лежишь не дышишь. Иначе капут и ауфвидерзеен.

Опять я, слушая Митю, многое готова ему простить. Поду-

мать только – он воевал на фронте, когда ему было столько же лет, сколько сейчас мне, ну, может, чуть-чуть больше.

Из задумчивости меня выводит голос Ивана Захаровича:

– О, так ты, оказывается, тоже фронтовик? – говорит он Мите. – В каких местах воевал? Может, мы соседями были с тобой или даже однополчанами?

В голосе Ивана Захаровича слышится едва уловимая насмешка. Зачем он так? Конечно, трудно поверить, что Митя успел повоевать, но мы-то все знаем, что он был сыном полка. Митя почему-то медлит. «Говори, говори!» – мысленно прошу я его.

– Где воевал, там меня сейчас нет, – говорит Митя, глядя мимо директора.

– Ну понятно, – бросает Иван Захарович и уходит.

– Ох уж этот мне Исусик, – говорит Митя, делая глубокий вдох. И добавляет, озираясь вокруг, как бы ища поддержки: – Чего он ко мне цепляется, а?

– А чо ты ему не ответил? – спрашивает Колька-Гвоздь. – Сказал бы: там-то и там воевал, а то еще подумает Исусик, что ты всё заливаешь.

Митя угрожающе подступает к Кольке.

– Что ты сказал? Я?! Заливаю?!

– Мить, ты чо? – Колька испуганно пятится от Мити. – Я же говорю, что Исусик может так подумать.

– А я чихал на тебя и на всех исусиков вместе взятых. Понял? Я буду перед ним, крысой тыловой, распинаться?.. «Однополчане», – передразнивает Митя директора. – Ведь видно же по его роже, что и близко от линии фронта не был. С войны во какими приходят! – кричит Митя, хлопая себя по бедру изувеченной ноги. – А у этого ни царапины. И туда же: воевал!

Все молчат. А что возразишь? Действительно, не видно на Иване Захаровиче никаких царапин. И ноги-руки на месте. Только врать-то он не станет, что воевал. Не такой Иван Захарович человек. Просто повезло ему на войне, не ранило, вот и всё.

Митя успокаивается, вернее – просто затихает. А губы его опять вытягиваются в ядовитой усмешке. Глаза прищурены, смотрят куда-то вдаль, мимо ребят. Кажется мне, что Митя сейчас обдумывает что-то важное для себя и нечистое. Какое-то беспокойство начинает вдруг точить меня. Пытаюсь понять при-

чину этого беспокойства. Ну что он мне сделает? Или Игорю?.. Нет, не это! Иван Захарович... Но при чем тут Иван Захарович? что может сделать директору детского дома этот прыщавый Митя? Чем может насолить большому, сильному, умному взрослому человеку? Ничего он не может! – подумала я решительно, прогоняя беспокойство.

А оказалось – смог..

Как-то в свободное время, в час творчества, как у нас это называлось, все ребята занимались в красном уголке каждый своим любимым делом, кому что больше по душе. Я, например, читала интересную книгу. Называлась она «Рыжик». Судьба Рыжика, мальчишки-подкидыша, потрясла меня. Я настолько увлеклась книгой, что не замечала девчонок, рисовавших акварельными красками, не слышала споров мальчишек, которые играли в шашки.

Оторвалась я от чтения только тогда, когда раздался непонятный грохот. Я обернулась на шум и увидела, что на полу валяется стул, а рядом лежит и, опираясь на руку, пытается подняться Валерка Изотов – болезненный худенький мальчишка лет десяти. Над Валеркой стоит Митя и, тыча своей палкой в его плечо, говорит негромко:

– Ты что же, пропастина, не видишь, куда садишься? Ведь это мой стул! Посмотри на него хорошенько и запомни. А чтобы лучше запомнил, отныне будешь его повсюду таскать за мной.

Все мы были так ошарашены этой сценой, что не заметили, когда и как в комнату вошел Иван Захарович.

Директор подошел к Мите, крепко взял его за руку повыше кисти.

– Если ты, – тяжело выдохнул Иван Захарович, глядя на Митю, – еще раз обидишь малыша... я не знаю, что с тобой сделаю.

Знакомым движением Иван Захарович прижал руку к груди, с усилием выдохнул раз, другой и медленно двинулся к выходу. Когда за ним закрылась дверь, мы услышали какой-то неясный звук, как будто в коридоре уронили что-то мягкое, но тяжелое. Помедлив, кто-то из пацанов – кажется, это был Мишка Оучин – выскочил за дверь.

– Иван Захарович, Иван Захарович! – услышали мы взвол-

нованный мальчишеский голос и, повскакав с мест, высыпали в коридор.

Наш директор лежал на полу вниз лицом, неловко поджав под себя правую руку. Кто-то бросился в кухню за водой, кто-то побежал на село за фельдшером. А Богородица опустила око-ло Ивана Захаровича на колени, осторожно повернула его на бок, потом на спину, прислушалась, дышит ли. И сама вздохнула облегченно: живой.

В тот же вечер увезли нашего директора в райцентр, в больницу. Тоня сопровождала его туда. Вернулась она утром на следующий день и рассказала, что дела Ивана Захаровича плохи, что предстоит ему сложная операция, и сами врачи не уверены в ее благополучном исходе.

Около детдомовской изгороди собралась кучка деревенских женщин. Они стоят по ту сторону калитки, а Тоня – по эту. Женщины горестно качают головами, жалеют Ивана Захаровича, говорят:

– Это ж надо... Господи, и с чего бы? Операция... Такой здоровый с виду мужчина.

– Здоровый? Да какой же он здоровый? – говорит со слезой в голосе Тоня. – Израненный он весь. Рассказывал Иван Захарович, снаряд возле него на фронте разорвался. Осколки от того снаряда у него в спине, в лёгких засели. Сколь вынули врачи тех осколков, и не счесть. А один, совсем махонький, не смогли достать, потому как около самого сердца он сидел. Сидел себе тихо и сидел, а тут вот... Потрясение, говорят. Он, осколочек, сдвинулся от этого потрясения. Теперь хочешь не хочешь, а резать надо, вынимать его... Только ненадёжно это, ох, ненадёжно.

– Еще бы надёжно, – поддерживает Тоню женщина. – Сердце. Шутка ли в деле.

Спрашивают также колхозницы насчет родных директора. Может, вызвать кого надо?

На этот раз подошедшая к калитке воспитательница Дина Ильинична поясняет, что жена Ивана Захаровича и их маленькая дочка в Ленинграде в блокаду умерли с голоду. А родителей он еще ребенком лишился, в детдоме рос.

Значит, Иван Захарович тоже детдомовец? И почему мы всего этого раньше не знали? Уж мы бы поберегли его, мы бы...

Я стояла в толпе девчонок и, сдерживая слезы, слушала всё, что говорилось об Иване Захаровиче.

Опустел, осиротел детдом без директора. И ночью я опять горячо молила забытого мной на время Бога: «Боженька, миленький, я тебя очень прошу, сделай так, чтобы Иван Захарович поправился. Пусть он живет, Боженька. Сделай так! И я тогда поверю, что ты есть».

После завтрака я послонялась в одиночестве по детдомовскому двору, посидела в спальне. Хотела было наведаться на кухню к Тоне, но передумала. Не нравилась она мне в последнее время. С тех пор как проводила Ивана Захаровича в больницу, Тоня ни с кем не разговаривала, даже на меня внимания не обращала. Сердито ворочала кастрюли, гремела крышками и только изредка вздыхала, приговаривая: «Господи, Господи, как же это ты допускаешь такое, Господи?»

Когда же становилось совсем невмоготу, я шла к своим уткам. Как выросли они за полтора месяца. Расправляют крылья, пытаются взлететь, вспархивают на края кормушек, корыт и шлёпаются на землю. Даже если и совсем станут взрослыми, не улететь им отсюда. Вверху-то, над загоном, тоже натянута сетка.

«Вот он спас вас, – говорю я мысленно уткам, – вы живые, здоровые, радуетесь. А Иван Захарович лежит сейчас со своим осколком у сердца. Операцию ему будут делать. Это значит, резать будут острым-острым ножом...» Кажется особенно страшным, что – острым.

К птичнику со скорбным лицом подходит Богородица. Она принесла кастрюлю с кормом для утят.

– Знаешь, Танюша, – говорит она мне, – я думаю, надо уток этих всех до единой на волю отпустить. Пора им к своим приобчаться. Не знаю, для чего их Иван Захарович сберег, но, поди-ка, не для того, чтобы в котёл с похлёбкой отправить.

– Нет, Богородица, ой, Тоня! Нет, что ты! Иван Захарович, и чтоб в котёл... Нет!

– Отпустить, что ли, советуешь? Думаешь, не осерчает он, когда вернется?

– Не осерчает! – говорю я убежденно. И на душе у меня становится радостнее от Тониной уверенности, что Иван Захарович к нам вернется.

– Завтра и решим всё с ребятами, – говорит Тоня. – Снесем их на озеро, пусть живут, Ивана Захаровича благодарят... Опять ты, Таньча, меня Богородицей назвала... Только вот что я тебе скажу, – и шепотом: – Нету Бога. – А потом громче, со слезой: – Нету!

Постояла Богородица, вцепившись в сетку загона пальцами, помолчала и сказала:

– Если бы был он, Бог, разве бы допустил, чтобы Иван Захарович такие муки мученические переносил? Звонили, что перевезли его в областную больницу, не решились операцию в районе делать. Нет, ты подумай, всякие навроде Кобылы этой живут в свое удовольствие, и земля их носит, не разверзнется. А Иван Захарович... Или мамонька твоя. Для чего Богу надо было, если есть он на белом свете, на столько время ее в больницу укладывать, здоровья лишать, да вас с братом заставлять горе мыкать? А Гриша мой... Сколь я слез пролила, сколь молитв Богородице вознесла. А где мой Гриша? Нету его, Таньча. Ой, права та похоронка проклятая. Нету.

Тоня горько заплакала, склонив лицо к своему плечу. А я, наливаясь жалостью, гладила ее полную мягкую руку и умоляла:

– Тонечка, родненькая, не плачь, не надо.

Все детдомовцы с горячим одобрением встретили Тонино предложение отпустить утят на волю. После обеда возле загона выстроились ребята, кто с корзинками, кто с сумками, а кто и со старыми наволочками в руках. Тоня и четверо старших мальчишек ловили в загоне утят. Многие из них, когда началась в загоне суматоха, забились в свои будочки. Этих взять было нетрудно. Но за некоторыми пацанам пришлось изрядно побегать. Вскоре, однако, загон опустел. Все утята были надежно упакованы, и ребята, прижимая их к груди, двинулись шумным табором к лесу, к болотам и озерам.

Хватило и радости, и волнений на всех, когда выпустили утят на чистую воду в небольшое озеро.

Мы следили за ними: как-то они поведут себя? Утята стали деловито грести лапками, то отплывать от берега, то вновь возвращаться к нему. А потом начали нырять и бить крылышками по воде.

«Конечно, им здесь лучше», – с грустью подумала я. Озеро

для них – дом родной. Разве можно сравнить с озером какие-то корыта?

Утиный загон опустел, но по привычке я еще некоторое время наведывалась сюда. Постою, посмотрю, совсем грустно станет. Тоня, наверно, заметила мою тоску.

– Знаешь, чего я придумала, Татьяна, – сказала она, – надо нам курей завести. Купим маленьких цыплят, они дешевые, и вырастим. Будут у нас свои куры. А то зря эвон сколь места пропадает, – кивнула она в сторону бывшего птичника.

Я промолчала. Не хотелось мне здесь опять привыкать к чему-то, прикипать душой хотя бы к тем же цыплятам. Ведь потом с ними нужно будет прощаться. Почему-то так устроена жизнь, что рано или поздно приходится расставаться со всем, что тебе дорого.

12

Не помню точно, кто принес в детдом весть о том, что Ивану Захаровичу сделали операцию и прошла она удачно. Но лежать ему до полного выздоровления еще долго. Все гадали, кого поставят, пусть даже временно, директором, и опасались, как бы опять не вернулась Кобыла. Но из районо пришел неожиданный для всех приказ, которым обязанности директора возлагались на старшую пионервожатую Наташу, Наталью Сергеевну.

– Ой, что они придумали! – ужаснулась Наташа, – какой из меня директор?! – Она буквально хваталась за голову и твердила: – Не смогу, не сумею.

А я подумала: Наташа славная, значит, сможет...

* * *

Ну вот и подошел к концу мой рассказ. Да, а ведь я еще о Мите забыла рассказать. После случая с Иваном Захаровичем он как-то сразу лишился своей свиты. По привычке, что ли, троица по-прежнему держалась вместе, но уже – без Мити.

Стоило ему появиться возле них, как пацаны заводили меж собой оживленный разговор. Как бы увлеченные им, они совершенно не замечали Митю. Несколько раз он пытался заговорить с ними, вставлял словечки вроде: это вы про кого? или:

а кто такой? Бывшие холопы не удостоивали его ни вниманием, ни ответом. Митя, желтая от злости, отходил, забивался в угол и молчал. Понимал, что не справиться ему одному с тремя друзьями, каждый из которых, наверное, не уступал Мите по силе.

И еще мы заметили: садиться теперь Митя стал на любой стул, какой был к нему поближе, хотя его стул по-прежнему никто не трогал.

Я не верила в Митину покорность, всё ждала, что затишье должно кончиться. Так и случилось. Однажды, когда перед ужином все собрались в столовой, громко хлопнула дверь и на пороге появился Митя. Вид у него был необычный: всегда гладко зачесанные волосы были взъерошены, пиджак расстегнут. Трость Митя волочил за собой, и от этого его хромота была заметнее.

– Стул! – гаркнул Митя.

Никто не шелкнулся. По голосу Мити, по тому, как качнулся, цепляясь за стену, стало ясно, что он пьян.

– Я сказал: стул мне!

«Святая троица» не двинулась с места. Зато на Митин крик в дверях появилась Тоня. Она строго посмотрела на него, сказала с осуждением:

– Что, неймётся? Такого человека чуть в могилу не спровадил, и всё не урок тебе. Ты на ребятишек голоса не повышай. Вот не погляжу, что убогой, да перетяну тебя когда-нибудь твоей же палкой пониже спины.

– Тихо, Богородица! – выкрикнул Митя. – Ты на меня не клей. К Исусику я никакого отношения не имею. Сама же говорила: осколок. Но... виноватым я себя чувствую. Слышь, Богородица, и вы все?! Потому и напился. Казённое полотенце, ха-ха, в деревне на самогон променял... Знаешь, что меня доконало, Богородица? То, что Иван Захарович в самом деле на фронте был. А я не верил ему, думал заливаает. Ведь у него и награды есть. Наташа их в столе его кабинета нашла. А он даже ни разу не надел их, чудак... Вот я тоже воевал. Да, воевал! Кто-нибудь сомневается? – спросил Митя, злобно прищурившись, и оглядел лица ребят.

Все молчали, и только Тоня сказала с укоризной:

– Будет тебе, Митя, дурачить всех. Ну пошутил, поиграл в войну и будет. Не дитё уже, вон в какую орясину вымахал.

– Ты чего это? Ты, Богородица, лишнего не мели! – слабо выкрикнул Митя. – Как это – поиграл в войну?

– Да не ерепенся, не ершись, – осадила его опять Тоня. – Долго ты будешь ребят своими баснями морочить? Давно уже известно, что ни на каком фронте ты не был.

У меня от Тониных слов мурашки побежали по спине. Как это не был? Все знают, что Митя был сыном полка... Ой, что сейчас будет!

Митя помолчал, буравя Тоню взглядом, и вдруг откинул голову назад и с надрывом расхохотался.

– Ха-ха-ха! Я вам всем заливал, что был на фронте, а вы и уши развесили, дураки! Не был. Выкусили? Не был!.. Куда я с этой падлой? – Митя ударил палкой по изувеченной ноге и застонал, скривившись от боли. – Кому я нужен был с ней на фронте? И про осколок я натрепал, и родичей своих в глаза не видел, а заливал, что они погибли в бомбежке. Не было у меня их ни-ко-гда. Может, из-за этого, – он опять, но на этот раз несильно ткнул в больную ногу, – и кинула меня моя мамочка.

Митя опустил на пол и заплакал. Тоня наклонилась к нему, пытаясь поднять, стала тянуть за руку.

– Вставай, горе ты мое горькое. Давай, поешь горяченького и – в постель. Выспишься, человеком будешь.

– Богородица, – говорил Митя расслабленно, шмыгая носом, – я тебя люблю. И Исусика люблю. Не веришь? И этих всех, – он окинул взглядом ребят, – я жалею и люблю. Не веришь, Богородица?

– Верю я, верю всякому зверю, – сказала Тоня и повела поднявшегося на ноги Митю к столу. – Ты вот спасибо скажи, что воспитательниц наших нету за ужином, домой побежали свою ребятню кормить, на меня вас оставили. Давай ешь по-скорому, а не хочешь, так в спальню ступай, пока наши мадамы не вернулись.

...Не знаю, как сложилась дальше жизнь детдомовцев, потому что дня через три после Митино «выступления» за мной и Игорем приехала мама. Она совсем поправилась. Только я сначала не узнала ее: вместо длинной косы появилась у мамы короткая стрижка. Это в больнице ей волосы укоротили.

Когда мама расписалась за нас с Игорем в каких-то бума-

гах, когда мы, сопровождаемые толпой ребят, уже вышли из детдомовских ворот, нас остановил голос Тони:

– Обождите-ка, эй, обождите!

Меня так и обдало стыдливым жаром. На радостях я совсем забыла попрощаться с Богородицей. Тоня быстро подошла к нашей маме, протянула ей руку.

– Здравствуйте. Поправились, значит? Слава Богу, дождалась деточки светлого часа. Хорошие у вас ребята, – сказала Тоня, прижимая к себе мою голову свободной рукой. В другой она держала бумажный свёрток, от которого исходил аромат свежеиспеченных булочек. – Вот, возьмите, – Тоня протянула свёрток маме, – перекусите в дороге, пока до дома доберетесь.

Мама поблагодарила, стала укладывать свёрток в сумку, а Тоня присела на корточки, притянула меня обеими руками к себе и сказала тихо, так, чтобы слышала только я:

– Я, Таньча, давеча тебе про Бога говорила, что нет его. Наверно, нету. Никто ведь его никогда не видел. Только ты всё равно так живи, как будто он есть. Не знаю, поймешь ли меня, мала еще. Но помни: в душе у каждого человека должна быть вера, без нее нельзя... Ну всё, беги. Мамка-то ждет, еще заревнует, поди.

– До свиданья, Богородица, – сказала я, пятась от нее. Потом повернулась и побежала к маме. Взяла ее за руку и еще оглянулась. Тоня медленно махала нам рукой...

Почему в конце концов приходится расставаться с теми, кто нам так дорог?



РАССКАЗЫ

Сказка, не кончайся!

Пришла мама за Светой в детский сад, а воспитательница Галина Сергеевна жалуется:

– Что-то с нашей Светочкой случилось. Всегда такая примерная девочка была, а сегодня пришлось наказать ее за плохое поведение.

Удивилась Светина мама, расстроилась, спрашивает: в чем ее дочка провинилась.

– Она сегодня Андрюше Калугину в лицо плюнула, – сказала Галина Сергеевна.

– Света, как ты могла позволить себе такое? – ужаснулась мама.

Света одевалась, обиженно сопела носом и молчала. Потом, глядя в пол и не поднимая головы, сказала:

– Галина Сергеевна мне сама велела на Андрюшу плюнуть, а сама ругает и в угол ставит...

– Что ты говоришь? – возмутилась мама.

– Да, мамочка, – Света подняла на маму глаза, – Андрей первый меня толкнул. Я погналась за ним, чтобы дать ему сдачи, а Галина Сергеевна остановила меня и сказала: «Плюнь ты на него, Света, да отойди». Я плюнула и отошла.

– Ах, вот в чем дело! – Галина Сергеевна покраснела, переглянулась с мамой и рассмеялась. А Света совсем обиделась на нее и отвернулась.

– Света, это просто выражение такое. Сказать: «Плюнь и отойди» – всё равно, что сказать: «Не обращай на него внимания». Понимаешь? – проговорила с улыбкой воспитательница.

– Понимаю, – сказала Света уже не таким обиженным тоном. Но про себя она подумала: «Не обращай внимания» – это одно, а «плюнь» – совсем другое.

А потом мама с дочкой, взявшись за руки, пошли домой по длинной-длинной заснеженной дороге. Вдоль улицы горели фонари, сливаясь в сплошную огненную линию.

– Встали, сели. Встали, сели, – бормотала вполголоса Света.

– С кем ты разговариваешь? – спросила мама.

– Это я огонькам. Вот так прикрою глаза, и огоньки вытягивают тонкие длинные ножки. Это они встали. Открываю глаза – они поднимают ножки. Сели. Вот опять: встали, сели...

– Ну какая ты смешная, – рассмеялась мама.

– И еще я вот что могу с луной сделать, – сказала Света. – Смотри на луну.

Мама посмотрела. Луна была в этот вечер яркая, желтая, словно большой фонарь-шар.

– Ну и что ты можешь с ней сделать? – полюбопытствовала мама.

– А вот смотри! Сейчас луна гладкая и круглая, да? А вот я прищуриваю глаза, и видишь, от луны разбежались лучики. Видишь?

– Да, – улыбнулась мама.

– А вот я открываю глаза. Видишь, опять нет лучиков... Ой, мамочка, как еще далеко до дома. Я не хочу идти. Я сейчас поеду.

– На чем?

– На луне, – смеется Света. – Всё равно она в ту же сторону идет, куда и мы. Ну-ка, подсади меня!

Мама, смеясь, подхватывает дочку на руки и поднимает вверх.

– Всё, спасибо, я поехала. Не отставай, мама!

– Держись крепче, не упади с луны!

– Держусь! Жалко, что тут, на луне, места мало для двоих.

А то ехала бы ты, мамочка, со мной. Ты устала идти пешком, да?

– Нет, я ведь большая. Ну куда же ты, Света? Не видишь, вот наш дом.

– Фу, чуть-чуть дальше не проехала. Сейчас я прыгну. –
И Света падает рядом с мамой в сугроб.

Мама стряхивает с ее шубки снег и говорит:

– Дай-ка я тебе шубку почищу, она вся в лунной пыли.

– Жалко, что утром луны не будет. Я бы до садика на ней доехала.

Окна дома светятся. Дома Оля – старшая Светина сестренка. Она учится в третьем классе. Папа тоже учится. В вечернем техникуме. Поэтому его сейчас нет дома. В комнате тепло и уютно. Оля читает книгу, забравшись с ногами на диван. Света бежит к сестре.

– Оля, я сейчас на луне каталась.

– Молодец, молодец, – говорит Оля. – Отойди, не мешай читать.

– Почитай вслух, – просит Света.

– Ты ничего не поймешь, – произносит Оля «взрослым» голосом. – Это книга для больших, а не для таких малявок, как ты.

– Мама! – кричит Света, – а Оля обзывается!

– Ну, начинается, – сердится мама. – Вечно вас мир не берет. Каждая в отдельности вы такие хорошие девочки, а как только сойдетесь, на вас и смотреть не хочется.

– Да, – хнычет Света, – она первая начала. Я же с ней похорошему, сказала, что на луне каталась.

– Вот и вруша, – говорит Оля. – Смотри-ка, лунатик какой выискался.

– Всё, – говорит мама, – иди, Светочка, будешь помогать мне. Вот тебе картошка и чашка с водой. Будешь картошку купать в воде и мне подавать, а я ее чистить буду.

Света с удовольствием принимается за работу.

– Мама, – просит она, – расскажи сказку.

– Не сейчас, я занята. Нужно ужин готовить, скоро папа придет.

– Тогда давай я тебе сказку расскажу.

– Расскажи, – соглашается мама.

– Слушай, только сказка страшная. Ты не будешь бояться спать?

– Не знаю. Если очень страшная, то, может, буду.

– Нет, не очень. Слушай. Жил-был на свете добрый молодец. Красивый-красивый, умный-умный. Звали его Коля Оси-

пов. Как у нас в садике. Знаешь Колю?.. Ну вот. Пошел он однажды на озеро в парке рыбу ловить. Только опустил удочку в воду, вся вода вдруг замутилась, удочку у него чуть из рук не вырвало. Потянул добрый молодец за удочку изо всей силы. Смотрит, а на крючок попался старый старичок. Зацепился он мокрой бородой, плачет, никак не может отцепиться. Стал просить доброго молодца, чтобы тот его снял с крючка. «Я за это, – сказал старичок, – тебя щедро награжу». Пожалел его Коля Осипов и отпустил. А старичок – это был водяной – сказал ему: «Лови три раза и больше не лови», – и с этими словами нырнул в воду. Стал Коля ловить. Один раз ему попался на крючок рваный ботинок. Потом еще какая-то чепуха. А в третий раз он поймал красивую-красивую девушку-царевну, точь-в-точь как Анюта Тютикова. Смотрит она на Колю, улыбается и протягивает ему шоколадку «Аленка». Коля забыл, что ему больше нельзя ловить, и опять опустил удочку в воду. На этот раз ему попался большой толстый заяц. Выскочил заяц из воды и как дал Коле палкой по лбу. Коля упал в обморок. А в это время Анюта превратилась в Людю Мелкову, засмеялась, показала Коле язык и исчезла, как будто ее здесь никогда и не было. А Коля очнулся, взял удочку, намочил водой шишку на лбу и пошел домой жить-поживать и добра наживать. Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец. Хорошая сказка?

– Хорошая, – сказала мама.

– Только, наверно, не страшная, да? – спросила с сомнением Света.

– Ну как же не страшная? – возразила мама. – Ничего себе. Еще какая страшная. Тебе обещает щедрую награду, а вместо этого ты получаешь палкой по лбу. Очень даже страшно всё это.

– А нечего верить всяким бабкам-ягам и водяным! – заявляет Света. И тут же спрашивает: – Мама, а что такое несол?

– Какой несол? – не понимает мама.

– Я не знаю, вот и спрашиваю. Нам сегодня в садике Галина Сергеевна сказку читала про лису и журавля, как они друг друга плохо угощали. В конце там так и было: «И пошла лиса, несола нахлебавшись». Каким-то несолом ее журавль накормил.

Мама опускает руки с ножом и картофелиной на колени и смеется чуть не до слез.

– Несолоно хлебавши, – произносит она раздельно сквозь смех. – Это так говорят, когда остаются голодными. Понимаешь? Выражение такое.

– А, опять выражение... Ну а теперь ты расскажи сказку. у тебя ведь руки заняты, а не рот. Ну хоть коротенькую-коротенькую, как от печки до стола.

– Да я уж тебе все сказки, какие знаю, по сто раз рассказала.

– Ну и что? Мне всё равно интересно. Расскажи про гусей-лебедей.

Мама моет картошку, опускает ее в кастрюльку и рассказывает о том, как поехали мама с папой за покупками, а дочке Алёнке наказали следить за маленьким братцем. «Заигралась сестрёнка с подружками, побежала с ними на речку купаться и забыла про братика. Налетели тут гуси-лебеди, подхватили они Иванушку...»

– Не надо, не надо! – кричит Света, зажимая ладошками уши. – Я это место хорошо помню. Рассказывай сразу, как Алёнушка с братцем домой бегут.

– ...Воротились мама с папой из города, а дети дома, живы-здоровы. Одарили они детей подарками, похвалили Алёнушку, что хорошо домовничала.

– Ура! – хлопает Света в ладоши. – А теперь правду расскажи!

– Какую правду?

– Любую. Ты мне сказку рассказывала, а теперь правду расскажи. Ну, например, расскажи, где ты меня взяла?

– Ну, как где? – улыбается мама. – Купила.

– В магазине?

– Нет, в больнице. Маленьких детей выдают в больнице. Сидела-сидела я как-то раз дома. Скучно мне стало. Папа в дальний рейс уехал, Оля с подружками на улице играет. А я сижу одна и смотрю телевизор. Смотрю и думаю: «Была бы у меня еще одна дочка, маленькая-маленькая, чтобы не убежала с подружками, а сидела бы со мной дома. Как бы мне было с ней весело». Взяла я все деньги, какие у меня были, и пошла в больницу, где детей дают. Зашла, а в больнице шум да крик. Дети лежат в маленьких белых кроватках и так кричат, что ничего не слышно. Нянечки бегают от одной кроватки к другой, а малыши, красные, заплаканные, разинули ротики и никак не хотят

молчать. Узнала врач, что я за ребеночком пришла, обрадовалась, бросилась к самым горластым и говорит: «Вот этих берите. Мы их бесплатно отдадим. Очень милые мальчики». «Нет, нет, что вы, – сказала я доктору. – Не надо мне никаких мальчиков. Мне нужна маленькая хорошенькая девочка. Можно, я посмотрю всех детей?» Разрешила врач. Пошла я вдоль кроваток. Все дети плачут, а на одной кроватке в уголке спит хорошенькая девочка. Носик маленький, курносенький, губки как вишенки, щёчки пухленькие. Спит эта девочка, носиком посапывает и улыбается во сне. Бросилась я к этой кроватке, попросила доктора:

– Мне вот эту девочку заверните, пожалуйста!

Врач посмотрела на меня грустно и говорит:

– Это очень дорогая девочка!

– Всё равно я ее возьму! – сказала я. Заплатила я деньги за эту девочку...

– А сколько? – спрашивает Света.

– Шестнадцать рублей и восемьдесят семь копеек.

– Ого, много! – удивилась Света.

– Да. И пошла со своей дочкой домой.

– И тебе с ней стало весело?

– Очень.

– И это была я?

– Ну, конечно, ты.

– Мама, а расскажи, как вы с Олей меня потеряли.

– Да, был такой грех. Стояла зима. Закутали мы тебя в розовое пушистое одеяло, положили на санки и поехали прогуляться в парк. День был теплый, солнечный. Оля впереди по тропинке шагает, я за ней иду и везу тебя на санках. Разговариваем мы с Олей о том о сем. Вдруг она как закричит:

– Мама, а где Света?

Оглянулась я на санки, а тебя на них нет как нет. Только далеко позади нас на тропинке виднеется розовый свёрток. Как помчались мы с Олечкой назад. Подбежали к тебе, а ты лежишь на снегу, улыбаешься и что-то говоришь. Не по-русски, наверно, ничего не понять.

– Это я вам на детском языке говорила: «Эх вы, Маши-растеряши, родную дочку потеряли, не заметили», – смеется Света.

– Очень я тогда боялась, что ты простынешь и заболеешь.

– А я что?

– А ты ничего. Ты и не подумала простывать и заболеть.

– А расскажи, как я потом сама потерялась.

– Я тебе уже не раз рассказывала.

– Ну и что? Расскажи, пожалуйста, еще!

– А это случилось уже летом. Тебе было полтора года. Пошла я в огород огурчиков набрать, а ты в доме играла. Набрала я корзинку огурцов и пошла домой. Зову тебя: «Света, Светочка!» Никто мне не отвечает. Заглянула я в одну комнату, в другую. Нигде тебя нет. Ну, думаю, это моя дочка со мной в прятки играет. Заглянула я под кровати, на кухню, выбежала во двор. Нигде тебя нет. Зову, кричу, чуть не плачу.

– Ой, бедненькая мамочка, как мне тебя жалко. А вдруг ты меня совсем бы не нашла.

– Искала, искала я, не могу найти своего светлячка и всё. Вдруг слышу: шум стоит в сарае. Куры кудахчут, кричат, вылетают из сарая, только пух и перья летят от них по двору. Удивилась я: в чем дело? И зашла в сарай. А там около ящичка, в который куры яички несут, сидит моя доченька Светочка. Нос и щёки у нее желтые, платье тоже в желтом и мокрое. И с подбородка желтое капает, и по рукам течет.

– Это сырые яйца, да?

– Ну конечно. Сидишь ты, достаешь из ящичка сырые яички, разбиваешь тут же о край ящичка и пьешь. Может быть, больше на себя льешь, чем пьешь. А возле тебя на соломе уже штук пять пустых скорлупок от яиц. И обрадовалась я, что ты нашлась, и опять испугалась, как бы ты не заболела от выпитых яиц.

– Я не заболела?

– Нет. Только с тех пор дверь сарая пришлось закрывать на замок. А ты подходила к двери, стучала по ней кулачком и кричала: «Дай, дай!»

– Ой, какая я была смешная маленькая. Я опять хочу быть маленькой.

– Ничего себе! Я жду, чтоб мои дочки скорее подрастали, учились, помогали мне обед готовить, порядок в доме наводить. А ты – опять маленькой.

– Ну ладно, я вырасту, ладно. Буду работать, а ты будешь

дома сидеть отдыхать. Ты будешь моей дочкой. Ты сможешь стать маленькой, когда я буду большая?

– Смогу, – обещает мама, сдерживая улыбку.

– А Олю мы поженим на ком-нибудь, чтобы она не приставала к нам. Да, мама?

– Ну всё, ужин готов. Быстро мыть руки и за стол. Оля, кончай читать. Оставь на завтра.

– Иду! – кричит из комнаты старшая дочка.

Наконец всё стихает. Девочки спят в своей комнате. Мама включает настольную лампу и садится с книгой к столу ждать папу с занятий в техникуме.

Дни идут за днями.

– Ах, мама, – говорит Света, – почему это зима такая длинная, а лето коротенькое-коротенькое? Я даже не верю, что снег когда-нибудь растает.

– Ну почему же ты не веришь? – улыбается мама. – Посмотри, на крышах уже сосульки появились. Утром они холодные, тусклые, а пригреет днем солнышко, они заискрятся, оживут и заговорят: кап-кап, кап-кап.

– А вечером?

– А вечером опять притихнут, съедятся и уснут. До утра.

– Что-то мне их жалко стало.

– За что их жалеть? Им хорошо. Такая у них, сосулек, жизнь... Света, смотри под ноги, – говорит мама. – Иди прямо по тропинке. Снег мокрый, рыхлый. Шагнешь мимо и наберешь в сапожки.

Света идет и шепчет: «Ножки, сапожки».

– Мама, а я стишок придумала! – кричит она немного погодя.

– Правда? Ну-ка расскажи.

– «Санки вытянули ножки, просят: дайте нам сапожки!» Потому что они не хотят по мокрому снегу ездить.

– Хороший стишок, – похвалила мама.

– А я и еще придумала, послушай. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит».

– Нет, это не ты придумала, а поэт.

– Может быть, и поэт придумал, но сейчас я это сама сочинила. Почему ты мне не веришь?

Мама промолчала.

– А мультики сегодня будут по телевизору? – спросила после небольшой паузы Света.

– Будут.

– Вот хорошо. Хоть бы про колобка показали. Мне так нравится, когда он этой хитрой и злой лисе жалуется: «А меня медведь обидеть хотел...» Лиса-то его скорее обидит, да, мама? А он еще маленький и ничего не понимает. Просто прелесть!.. А почему сегодня такое небо грязное?

– Ну, не каждый же день солнце. Сегодня пасмурно, а завтра, глядишь, опять солнышко выглянет.

– Знаешь, мамочка, мне хочется залезть на что-нибудь высокое, ну хоть вот на тот подъемный кран, и протереть всё небо тряпкой. Стереть все тучи, стереть, чтобы они солнышко от людей не прятали... А почему кран не перевёртывается, когда тяжести поднимает?

– Потому что у него есть такой противовес. Понимаешь? Смотри, там, внизу, большие тяжелые бетонные блоки наложены. Видишь? Они и удерживают кран, не дают ему упасть.

– Мама, а ты на стройке на кране работала?

– Нет, я ведь мастером была.

– Мастером на все руки?

– Нет, пожалуй, не на все. Но у меня на стройке действительно работали мастера на все руки. Каменщики, бетонщики, плотники, штукатуры, маляры.

– И что они делали?

– Дома строили. Каменщики стены из кирпича выложат. Монтажники плиты перекрытий, то есть потолки уложат, электрики свет подключат. Сантехники подведут к каждой квартире воду и отопление. Плотники полы настелят, окна и двери сделают. Штукатуры стены и потолки оштукатурят. А потом придут маляры-волшебники. Махнут они волшебной палочкой-кистью, и всё вокруг расцветает. Серые потолки и стены становятся белоснежными, полы – ярко-желтыми, панели на кухне и в ванной – небесно-голубыми. И въезжают люди в новый дом, как в сказку. Хорошо! Ты хотела бы стать строителем? Оля вот собиралась выучиться на маляра. А ты какую бы выбрала профессию?

– Я сейчас подумаю, – серьезно говорит Света. – Я даже не знаю. Раньше хотела быть воспитателем, а теперь – родителем.
– Кем-кем? – спрашивает со смехом мама.
– Ну чего ты смеешься? Родителем. Чтобы у меня была маленькая дочка. Я бы с ней гуляла, сказки бы ей рассказывала.
– Всё это хорошо, но нужно же где-то работать.
– Но мне так жалко оставлять свою дочку одну или водить ее в садик. Она будет скучать без меня.

Вечером Света продолжает прерванный разговор.

– Оля, ты кем будешь, когда вырастешь? – спрашивает она сестру. – На стройку пойдешь, да?

– Сначала я хотела работать на стройке маляром, но теперь решила, что буду артисткой, – отвечает та серьезно.

– Тогда я тоже буду артисткой! – кричит Света весело.

– Какая из тебя артистка? – говорит Оля. – У тебя уже неделю зуб шатается, а ты не даешь его выдернуть. Под этим зубом новый растет, а ему некуда расти. Новый из-за этого может вырасти кривым. А кто тебя с кривыми зубами в артистки возьмет?

– Ну и пусть, какой вырастет, такой и вырастет. Если у меня будут ровные зубы, в артистки пойду, а если кривые, то буду на стройке работать.

Папа сделал красивый новый скворечник. Оля сказала, что лучше, чем этот, скворечника просто быть не может. С нетерпением ждали прилета скворцов. Наконец пернатые гости пожаловали. Но почему-то новый скворечник пустовал.

– Не нравится им чем-то наш домик, – говорила мама.

– Такой красивый, – горевала Света. – Зелененький, хорошенький. Если бы я была скворушкой, я бы только папин домик выбрала.

И вдруг однажды утром папа прислушался и сказал:

– Кажется, и к нам пожаловали гости.

Мама подошла к окну. На веточке у скворечника сидел скворец и пел беззаботно, залиvisto, нежно. Из окошечка скворечника вылетела другая птица. Она тоже вспорхнула на ветку. А потом птицы куда-то полетели. Мама проводила их взглядом. Скворцы начали виться над скворечником у соседнего дома.

– Улетели, – разочарованно сказала мама.

Но через некоторое время птичья пара вернулась. Скворцы кричали. Скворец, казалось, говорил: «Ты посмотри, этот дом совсем новый и теплый. Все щелочки в нем промазаны и покрашены. Сухо, не дует. Что тебе еще нужно?» На что скворчиха, сердясь, отвечала: «Да, тот дом хуже, но он на березе, а не на каком-то голом шесте. То ли раздолье будет нам и нашим деткам на березе! Давай всё взвесим. Выбрать дом – дело нешуточное. Посмотрим еще раз». Они срывались и снова летели к соседнему дому. И возвращались опять. «Береза тебе нужна? – кричал сердито скворец. – Чтобы по этой березе кошки подбирались к нашим детям? Да, здесь голый шест, но по нему кошкам к домику не забраться». Скворчиха задумалась на миг, но из упрямства кричала: «И слушать тебя не хочу! Тоже мне мужчина, кошку испугался!» – и опять улетала к березе, а за ней летел и скворец. Потом птицы вообще исчезли. Мама занялась приготовлением завтрака и на время забыла о скворцах. Но тут раздался Светин радостный крик: «Мама, посмотри!»

Света смотрела в окно. В скворечник один за другим влетали скворцы. Один держал в клюве сухую травинку, другой – белое куриное пёрышко.

– Ну всё, выбрали наш домик, – сказал с улыбкой папа. – Гнёздышко для малышей делают.

Света и Оля радостно захлопали в ладоши.

Как-то очень быстро сошел снег. Кажется, совсем недавно вдоль улиц огромными белыми чудищами лежали снежные сугробы, а уже на полянах из-под прошлогодней пожухлой травы выглядывает молодая, зеленая и веселая травка.

– Мамочка, – Света бежит навстречу маме, – мы сегодня всей группой ходили на прогулку на старый аэродром. Ой, какая там прелесть! Такое большое-большое поле и уже совсем зеленое. Сходим туда, а?

– Посмотрим, какая будет погода. Если воскресенье будет солнечным, всей семьей пойдем в лес. Папа обещал.

– Ура! А Барсика возьмем?

– Конечно. Разве можно идти в лес без собаки? Кто же нас будет охранять?

– Да ведь Барсик еще маленький, – улыбается Света.

– Ну так что? Он будет предупреждать нас об опасности.

Погода в воскресенье выдалась на редкость хорошая. Тепло, солнечно. Итак, вся семья отправляется в лес. Впереди с рюкзаком за спиной шагает папа. Он ведет на тонком ремennom поводке Барсика – нескладного четырехмесячного щенка овчарки. За ними вприпрыжку бежит Оля, за Олей идут, взявшись за руки, мама и Света.

– Ой, мама, посмотри! – смеется Света. – Барсик что делает!

Барсик до этого ни разу не ходил на прогулки. Тем более на поводке. Он поднимал то одно, то другое ухо, вертел головой и забегал вперед, путаясь у папы под ногами.

– Ну, я уже не могу так, – сказал папа сердито. – Ваша затея взять щенка в лес – сами его и ведите.

– Дай я поведу! – крикнула Оля и, зажав конец поводка в руке, побежала впереди всех. Барсик с веселым лаем помчался за ней.

– А почему это Олечка? – возмутилась Света. – И я хочу вести Барсика.

– Ты не удержишь поводок, – сказал папа. – Ты лучше маму веди.

– Маму не надо вести. Я хочу Барсика! Вечно всё своей Олечке!

– Ну хорошо, – урезонила дочку мама, – сначала Оля, потом ты.

Наконец поводок из рук старшей сестры перешел к младшей. Сначала всё шло неплохо. Но вдруг позади на дороге загромыхала телега. Щенок рванулся в сторону, выдернул поводок из Светиной руки и понесся что было духу по дороге в лес. Конь с громыхающей телегой промелькнул мимо папы, мамы и девочек, поднимая клубы пыли, поскакал по дороге вслед за несчастным, до смерти перепуганным щенком.

– Барсик, Барсик! – кричали все четверо.

Давно исчезла за поворотом упряжка. Улеглась на дороге пыль. А Барсика нигде видно не было.

– Ну что, доигралась? – ругала Оля сестру, вытирая выступившие слезы. – Где теперь Барсик, где?

Света виновато молчала. Наконец подошли к лесу.

– Ой, смотрите! – крикнула Оля.

Навстречу им из леса вышел парень. На руках он нес Барсика.

– Барсик, Барсик! – закричали сёстры радостно.

Щенок забеспокоился, стал вырываться из рук парня. Тот опустил Барсика на землю. Щенок, волоча поводок, подбежал к папе.

– Ваша собака? – спросил с улыбкой парень. – А я гляжу – сидит у дороги, язык высунул, бока так и ходят, ноги дрожат. Идти не может. Взял я его и понес. Решил себе взять, думал, он бездомный.

– Нет, он домный, он наш, – сказала Света. – Просто он коняшку испугался и убежал. Мы его взяли с собой, чтобы он нас от опасности в лесу защищал. Да, мама?

– Да, доченька, – рассмеялась мама.

По обочинам дороги замелькали первые цветы.

– Это моё, я первая увидела! – закричала Оля и побежала на поляну, раскинув в стороны руки, словно прикрывая ими подснежники, белеющие тут и там.

– Что, это всё ей? – закричала Света и припустила за сестрой.

– Подождите! – строго прикрикнула мама. – Не надо сейчас рвать цветы. Сначала походим по лесу, посидим, поедим, а когда пойдем домой, нарвёте по букетику.

– Их же здесь вон сколько, – Света обвела взглядом поляну, усыпанную цветами.

– В природе всего много, – сказала мама. – Но если не жалеть, не беречь ее, то она обеднеет.

– А что такое природа? – спросила Света.

– Природа – всё, что нас окружает, – вмешалась в разговор Оля. – Это лес, земля, небо, облака, воздух. Вообще вся жизнь.

– Ну, понятно, – сказала Света.

Настороженно подняв уши, залаял Барсик.

– Ой, – испуганно прошептала Света, – опасность какая-то в кустах.

Папа направился к кустам, и вдруг из-под самого носа Барсика вспорхнула большая птица и низко над самой землей поле-

тела в сторону ближних ёлочек. Барсик с лаем припустил за птицей, а папа осторожно раздвинул ветки кустов и наклонился.

– Смотрите! – позвал он всех.

Девочки подбежали первыми и ахнули. В середине куста, в мягком уютном гнезде, сделанном из сухой травы и перьев, лежали с десяток желтоватых яичек с мелкими темными крапинами. Размером они были немного мельче куриных. Света, завизжав от восторга, потянулась к гнезду.

– Не тронь! – прикрикнул на нее папа, загородив рукой куст с гнездом. – Нельзя к яичкам прикасаться, а то птица почует чужой запах и может покинуть гнездо.

– Как куриные яички, – сказала Оля.

– Их и снесла лесная курочка, – улыбнулся папа, – рябушка. А теперь пойдёте отсюда, а то она волнуется.

Папа аккуратно расправил ветки кустов, и все пошли дальше. Выбрали чистую полянку у ручья. Папа принес охапку сушняка и принялся разводить костер. Барсик бегал вдоль ручья, а мама с дочками отправилась в глубь леса. Листья на березках и осинках еще не распустились. На них только набухли почки, готовые вот-вот раскрыться. пышно цвела верба. Ее цветки сидели на голых блестящих веточках, как крошечные пушистые птенцы.

– Прелесть! – сказала Света и потянулась рукой к веткам вербы.

– Мама! – крикнула Оля. – Скажи, пожалуйста, Светке, чтобы она ничего не трогала. Сейчас она всё тут поломаёт и испортит. И на гнездо она сразу налетела, как только увидела. Мне кажется, она хотела расколотить яички и выпить их.

– Я только погладить их хотела! – обиделась Света.

– Смотрите, какое большое и красивое перо! – позвала мама.

– Ой, а чьё это? – спросила Оля, разглядывая нарядное пёстрое перо, которое мама подняла с земли.

– Должно быть, ястребиное, – сказала мама.

– А он большой, ястреб? – спросила Света.

– Вот такой, – развела мама руки в стороны.

– Ого! А давайте обманем папу, что мы видели ястреба, – предложила Света.

– Старших, а тем более папу, обманывать нельзя, – строго запретила Оля.

– Ну мы же просто пошутим.

– Ну, пошутить можно, – согласилась Оля. – Можно рассказать папе, как мы устали и присели под ёлочкой отдохнуть. А в это время с неба прямо на нас свалился ястреб и хотел унести нашу Свету. А мама как схватила его за крыло. Ястреб вырвался, а в руке у мамы только перо осталось.

Света вскочила на ноги. Глаза ее блеснули, щёки горели. Она крикнула укоризненно:

– Эх, мама, мама, не могла ты крепче ястреба держать? Я же его ни разу не видела даже.

Оля с мамой дружно рассмеялись. Но тут снова услышали залиvistый лай Барсика и поспешили к костру. Барсик энергично работал лапами, разгребая прошлогоднюю слежавшуюся траву, листья и землю. Из-под его лап выскочила полевая мышь и проворно побежала прочь. Барсик бросился вдогонку. Обогнал мышку, приник всем телом к земле и, виляя хвостом, залился веселым лаем. Мышь повернула в сторону, и снова щенок преградил ей путь.

– Ой, он съест мышку! – закричала Света. – Нельзя, Барсик!

– Нет, – сказал с улыбкой папа, – Барсик с мышкой поиграть хочет, а она не понимает его, боится.

– Папа, а мы ястреба видели, – сказала Света, хитро подмигивая маме и Оле сразу двумя глазами.

– Да? Я тоже видел, – сказал папа. – Сейчас он вот тут рядышком со мной сидел.

– Что же ты нас не позвал? Я его ни разу в жизни не видела. Мы от него только перо нашли.

Опять все посмеялись над Светой. А потом «пировали». Ели бутерброды и шашлык, зажаренный на костре, пили чай, заваренный веточками черной смородины. Дома, кажется, никогда не обедали с таким аппетитом.

По дороге домой набрали букет цветов. Барсик еле передвигал ноги. Оля сжалась над ним и взяла его на руки.

– Светланка у нас тоже устала, – сказала мама, глядя на притихшую младшую дочь.

– Я не устала, – возразила Света. – Просто мне надоела

эта кудрявая дорога. По ровному тротуару я бы знаешь сколько могла еще идти? Хоть сто километров.

Наконец добрались до дома.

– Ну, понравился вам поход? – спросила мама у дочек.

– Очень, очень, – закричали наперебой Света с Олей.

– Мама, мы почти у леса живем, а ходим в него редко, – сказала Оля укоризненно.

– Светочка у нас маленькая была, – пояснила мама, – а сегодня она вон сколько исходила и хоть бы что. Теперь будем чаще выбираться на природу.

– Мама, а природа все-таки плохая или хорошая? – спросила Света. – Вы с Олей говорили, что природа – это лес, цветы, деревья... А в садике я спросила у Галины Сергеевны, почему люди умирают, она ответила, что так устроена природа.

– Природа хорошая, – убежденно сказала мама. – Она очень умная, красивая.

– Но иногда она все-таки неправильно поступает, – сказала Света с сомнением. – Вот это умирание мне совсем не нравится. И еще папа сегодня в лесу говорил: «Вот тут природа проморгала, что наплодила комаров».

Вечером мама сказала папе:

– У нашей Светы аналитический склад ума.

А на следующий день, когда в ссоре Оля назвала Свету дурочкой, та крикнула:

– Ох ты! Мама вчера про меня сказала, что у меня целый склад ума. А про тебя она этого не сказала. Поняла?

– Молчи ты, малявка! – рассердилась Оля.

– Нет, Света у нас не малявка, – сказала мама, входя в комнату девочек. – Нашу Светочку перевели в старшую группу детсада. Так что теперь, Оля, нам придется с мнением Светы серьезно считаться. Сейчас мы на деле убедимся, как наша большая Света сама расстелет постель, ляжет и спокойно уснет.

– Сказку, – сказала Света, смущенно улыбаясь. – Мамочка, ну пожалуйста, хоть коротенькую-коротенькую, как от Олиной кровати до моей.

– Большая, – хмыкнула Оля. – То же, что и каждый день.

Мама улыбается и соглашается:

– Ну хорошо. Я не расскажу, а прочитаю сказку. Называется она «Волшебное кольцо».

Мама дочитывает последнюю страницу. Оля отворачивается к стенке.

– Спокойной ночи, – бормочет она сонно.

– Спокойной ночи, доченьки! – говорит мама.

– Если бы у меня было волшебное кольцо, – шепчет Света, – я бы загадала одно желание, чтобы люди никогда не болели и жили долго-долго. Я так люблю хорошие сказки. Сейчас я придумала такой стишок, послушай, мама: «Лодочка, качайся, сказка, не кончайся!»

– Ну хорошо, спи. Оля уже спит.

– Сейчас, мама, еще одно словечко спрошу и всё. А можно купить волшебное кольцо?

– Нет, доченька. Через два года пойдешь в школу, закончишь ее. Потом выучишься на врача и будешь лечить людей, делать их здоровыми и счастливыми. И волшебное кольцо тебе не понадобится. Спи, спи.

Мама поправляет одеяла, целует дочек, гасит свет и тихонько выходит из комнаты. Она не слышит, как Света уже с закрытыми глазами повторяет свой стишок: «Лодочка, качайся, сказка, не кончайся! Утром просыпайся, снова начинайся!»



«Сорока-воровка»

В большом скучном дворе, отгороженном высоким забором от веселого зеленого мира, стоял старенький трактор. Изпод трактора торчали ноги в больших кирзовых сапогах. Они то спокойно лежали на земле, то слегка начинали поёрзывать, то вдруг сгибались в коленях и с силой упирались подошвами сапог в землю. А то вдруг – раз! – и переворачивались носками вниз, пятками вверх.

Возле трактора стояла маленькая беловолосая девочка в голубом платице и с любопытством наблюдала за ногами. Наконец ей надоело разглядывать ноги, и девочка присела на кор-

точки около куска брезента, расстеленного на земле. На брезенте были аккуратно разложены гайки, болты, слесарные инструменты, какие-то шестерни и железяки, которым девочка и названий-то не знала. Она наклонила голову и заглянула через плечо под трактор. Ноги работали. Одна из них лежала на земле, другая, согнутая в колене, изредка покачивалась из стороны в сторону.

Девочка наклонилась к брезенту, что-то взяла и торопливо направилась в сторону забора. Потрогала рукой одну доску с черными пятнами мазута, отодвинула ее в сторону, пролезла в образовавшуюся щель. И сразу попала в тот веселый зеленый мир, который был только что скрыт от нее забором.

У самого забора, где стояла сейчас беловолосая девочка, росла буйная лебеда. Неожиданно полоса лебеды обрывалась и за ней тянулись длинные ровные ряды картофеля. А там, дальше, за этими рядами и за грядками с овощами, стоял деревянный рубленый дом. В огород смотрели два веселых блестящих окошка, дверь и крылечко, окрашенное желтой краской. Дверь заскрипела, открылась, и на крылечко вышла длинноногая девочка лет двенадцати в ярком ситцевом сарафане. Она посмотрела в дальний конец огорода, увидела у забора девочку с белыми пушистыми волосами и закричала сердито:

– Лялька! Ты опять в гараж лазила? Мама тебе что сказала? Не ступать ногами за забор! А ты? Ну-ка, иди сюда!

Беловолосая Лялька юркнула к углу забора, присела на миг. Тотчас выпрямилась и побежала по картофельным рядам к дому. Она остановилась неподалеку от крыльца и, слегка сморщившись от солнца, посмотрела на старшую сестру.

– Покажи руки! – приказала та.

– Зачем? – спросила Лялька, держа руки за спиной.

– Покажи, покажи!

Лялька повернулась и побежала к калитке, ведущей на улицу. Мелькнули ее черные ладошки.

– Так, значит, опять какую-то дрянь брала. И на платье пятно. Ну будет тебе от мамы!

– И ничего не будет! – крикнула Лялька из-за калитки. – Я еще маме скажу, что ты, Лидочка, дрянью обзываешься. Вот.

Тем временем ноги, торчащие из-под трактора, вытянулись и извиваясь поползли наружу. Показались замазученные брю-

ки, потом куртка, а затем руки, плечи и голова тракториста. Не поднимаясь на ноги, тракторист на четвереньках подполз к брезенту, взял какие-то ключи и снова залез под трактор. Из-под трактора слышалось неясное бормотанье, потом тракторист опять вылез наружу и снова подполз к брезенту. Он протянул руку, поводит ею под брезентом, повертел головой, разглядывая всё, что там было разложено, опустил руку и продолжал глазами ощупывать предметы на брезенте.

Неожиданно тракторист вскочил на ноги и, сердито сплюнув, сказал громко:

– Да что за чертовщина такая? Будет этому конец или нет?

На голос его из распахнутых ворот гаража вышел человек с голубыми глазами и светлыми вьющимися волосами. Он улыбнулся и спросил:

– Чего шумишь, Иваныч? Отказывается старик работать? – он кивнул на трактор.

– Не в том дело, Андрей Владимирович. Помню, вот на это место прокладки положил. А сейчас нету их.

– Получше посмотри. Куда им деться? Во дворе никого кроме нас с тобой нет. Разве что Лялька моя тут вертелась, так ей твои прокладки...

– Лялька? – спросил озадаченно тракторист. – В тот раз, когда у меня французский разводной ключ пропал, дочка ваша, я извиняюсь, тоже тут во дворе играла.

– Да что ты? Зачем девчонке твои ключи? Хотя... Мать часто ругается, что у Ляльки то руки, то платье в мазуте... Где она тут лазает? – Лялькин отец, механик гаража, подошел к забору и отодвинул доску. – Тесновато!

Он просунул в щель сначала голову, потом плечо, грудь и с усилием пролез в свой огород. Остановился, внимательно посмотрел по сторонам и шагнул в угол, где изгородь огорода примыкала к забору гаража. Андрей Владимирович развел руками заросли лебеды и от изумления присвистнул. Чего тут только не было: пустые карболитовые коробки от аккумуляторов, гаечные ключи, две негодные и одна новая фары от автомашин, болты и гайки всех размеров и диаметров, новенький карбюратор (в свое время из-за его пропажи было немало разговоров в гараже), шестерни, какие-то пружины и еще куча всякой всячины.

– Иваныч, дай-ка мне мешок! – крикнул механик трактористу. Тракторист скрылся ненадолго в темном провале ворот гаража и вышел с мешком в руках.

– Зачем мешок? – спросил он, просовывая голову в щель.

– Клад нашел! – рассмеялся Андрей Владимирович. – Иди, сможешь выбрать, что сгодится.

Около часа возились механик с трактористом, разбирая Лялькин «клад». Полмешка набили «трофеями».

– Не девчонка, а сорока-воровка какая-то, – сказал удивленным тоном тракторист, разглядывая Лялькины запасы. – Осерчает она, когда увидит, что склад ее разграбили, – добавил он.

– Уладим как-нибудь, – пообещал Лялькин отец.

А вечером мать опять ругала Ляльку.

– До каких же это пор говорить? Опять в мазуте! Тебе что, гараж медом кажется?

– Ладно, мать, полегче, – вступился за Ляльку отец, глядя на упрямо сведенные белесые брови младшей дочери. – Знаешь, как нам Лялька помогла? Ничего ты не знаешь. Она минимум на месяц гараж запчастями обеспечила. – В глазах Андрея Владимировича плясали веселые искорки.

– Как это? – не поняла мать.

– Наша дочь такую базу основала, любой завгар позавидует. Наверно, механиком будет.

– Нет, – сказала девочка, надув губы, – трактористом.

– Вот, вот, – сказала ворчливо мать, – с пяти лет ребенок себя в трактористы готовит.

– А что? Хорошо! Нам к тому времени, как Лялька трактористкой станет, новый трактор дадут. Давно уже обещают. Механизатор из нее добрый получится. Видит, как туго с запчастями, так с малых лет запасается всем необходимым. Ляля, ты не обидишься на меня? Я у тебя некоторые вещи из твоих запасов взял. На время. А когда ты трактористом будешь, я тебе всё верну. Хорошо?

– Хорошо, – сказала с улыбкой Лялька.

И всё кончилось действительно хорошо, потому что в тот же вечер тракторист Иваныч принес из дома три длиннющих гвоздя и наглухо заколотил Лялькину лазейку.

Первая оценка

Лялька пошла в первый класс. И читать по слогам научилась, и цифры складывать. До десяти. В уме и на палочках. А вот с писаниной у нее ничего не получается. Пишет человек, старается. Брови нахмурит, лоб наморщит, прикусит губу, голову набок наклонит. Ну всё, кажется, сделает для того, чтоб писалось. А не пишется. Буквы ползут то выше, то ниже строчек, хоть ты что. Всем в классе давно уж в тетрадях оценки ставят. А у Ляльки по письму – ни одной.

Каждый раз, когда учительница раздает тетради, Лялька с нетерпением открывает свою, но там, как обычно, стоит красная птичка – пометка, что работа Лялькина проверена. И красным же показаны новые прописи, которые написала учительница. Ровненькие, красивые.

Дома все: и мама, и папа, и старшая сестра Ляльки переживают за нее. Стоит Ляльке, возвратившейся из школы, переступить порог дома, как у нее наперебой спрашивают: «Ну что? Ну как? Сегодня нет оценки?»

Лялька, нахмутив брови, отрицательно качает головой и, тяжело волоча большой для нее портфель, проходит в комнату.

Но однажды распахнулась дверь, и в дом ворвалась сияющая веселая Лялька.

– Мама! – закричала она, на ходу расстегивая портфель. – Оценка! В тетради по письму! Вот!

Все поспешили к Ляльке. Она достала тетрадь, бросила мешавший ей портфель, торопливо полистала тетрадку и протянула ее маме.

– Вот, – повторила она счастливым голосом.

Все склонились над тетрадкой. Там, ниже вкривь и вкось разбегающейся Лялькиной писанины, стояла жирная красная двойка.



Пожар на болоте

Утром, едва проснувшись, я почувствовала запах дыма. Запах особый, не печной, не дровяной или угольный. Это был как будто запах костра. И тоже костра не лесного, а, скорее, огородного, когда сжигают старые высохшие листья, стебли, корни, ботву овощей. Стоял июль, и уже давно отгорели огородные костры.

– Что это? – спросила я у мамы.

– Болото горит, – сказала мама с озабоченным видом.

– Наше? – я быстро села на кровати.

– Да, – ответила мама.

Я встала, прошлепала босыми ногами к кровати брата.

– Игорь, вставай, наше болото горит.

– Не ври, – пробормотал брат сонным голосом, не открывая глаз, и отвернулся к стене. Но посопел носом, медленно повернулся на спину и открыл глаза.

– Дымом пахнет. А почему оно горит?

– Кто его знает? – сказала мама. – Люди всякие есть. Бросил кто-нибудь спичку или сигарету. Много ли надо. Лето вон какое сухое стоит.

Поселок наш расположен на берегу Оби. Широка Обь, полноводна, нетороплива. Крут и высок ее правый берег, на котором рассыпался деревянными домишками наш поселок. За поселком, отделяя его от вековой тайги, тянется широкой полосой высохшее болото. Говорят, когда поселок начинал строиться, болото не было сухим. Меж кочек стояла ржавая, подернутая ломкой пленкой вода. Встречались местами на нем и «окна» – зеленые безобидные с виду полянки. Угодишь на такую – едва ли удастся выбраться. Засосет бездонная пучина-трясина.

Жители поселка стали резать на болоте торф. Выкапывались ямы, потом целые глубокие траншеи. Болотная вода отстаивалась в них, мешала выработке торфа. Люди прокопали от ям канавки, по которым вода из болота уходила в реку. И болото постепенно высохло. По нему стало безопасно ходить. Окна трясин затянуло корнями, травой. И если случалось идти по такому месту, почва под ногами покачивалась, как пружин-

ный матрац. Мы, дети, любили качаться на зыбунах, подгибая и распрямляя ноги в коленях. Взрослые строго-настрого наказывали нам остерегаться таких мест, но мы не боялись их до тех пор, пока в одно из таких затянутых «окон» не угодила соседская корова. Верхний травяной покров и переплетение корней не выдержали веса коровы, прорвались, и несчастное животное погибло. Даже когда корову обнаружили, помочь ей не смогли. Из трясины виднелась только голова с вытаращенными от ужаса глазами. Бедная корова пыталась выкарабкаться из страшного плена. Время от времени она делала отчаянные рывки. Но этим только вредила себе. Каждый раз она погружалась еще на несколько сантиметров в трясину.

После этого случая мы, ребяташки, стали пробовать ногой почву, и если случалось нащупать зыбун, спешили обойти его стороной.

Со временем зыбуны совсем перестали встречаться на болоте. Меньше стало на нем и клюквы. Но зато заросли голубики, черники и брусники разрослись так буйно, что ягоду здесь можно было, как говорила мама, лопатой грести. Много было вокруг разных болот ягодных. Но именно это мы, дети, называли «нашим». Взрослые могли ходить и на дальние болота. А это, словно по уговору, оставил поселок для нас, ребят.

Если случалось какой женщине выйти с бидончиком к болоту набрать ягод, тут же ее и стыдили: «Ивановна, что ж ты это? Совсем немощная стала, что на ребячье болото забралась?» И женщина, смущаясь, отговаривалась делами, занятостью, но с болота уходила. Таков уж неписанный закон был в поселке: около дома ребята под присмотром. И болото надежное, неопасное.

И вдруг – пожар на нашем болоте. Мы были хоть и маленькие, но знали, что это такое. От такого пожара больше дыма, чем огня. Вроде не так он страшен, как пожар в тайге. Но уж если загорится торфяное болото, то может гореть, вернее тлеть, месяцами. Выгорит всё: каждая травиночка, каждый ягодный кустик. Будет потом годами лежать выгоревшее болото черным, мертвым, зловещим, в сухую и ветреную погоду рассеивая вокруг серый пепел, в дождливую – наполняя воздух запахом старой гари.

Брат мой Игорь быстро оделся и выбежал из дома, я за ним. В одном месте над болотом особенно густо стлался ядовитый желто-зеленый дым. Ветерком его тасило по болоту к поселку. И улицы поселка уже заволокло синеватой дымкой. Кашляли у домов собаки. Они почему-то чувствительнее к дыму, чем люди.

Народ высыпал из домов.

– Да кто ж это сделал? – возмущались одни.

– Выгорит болото! – сокрушались другие.

И только старый дед Филипп сердито оборвал и тех и других:

– Много ли проку в охах и ахах? Спасать болото надо.

– Чем ты его спасешь? – рассердилась бабка Маркеловна. –

Дождя уж котору неделю нет. Трава-то, как порох.

– Кудахчешь, как курица, – сказал с ехидцей дед Филипп, – а мозги у тебя и вовсе цыплячьи. Окапывать надо горелое место, – обратился он уже ко всем.

Люди разошлись по своим домам и тут же снова собрались у домика деда Филиппа. У каждого в руках лопата. Шумной толпой отправились к месту пожара. Дети бежали следом за взрослыми. Ребятишки постарше тоже вооружились лопатами. Да и некоторые из малышей, глядя на больших, волокли за собой лопаты.

– О-о, с такой-то силой, да чтоб мы пожар не одолели! – улыбнулся в бороду дед Филипп.

И пошла работа на болоте! Мужчины подрубили лопатами корни кустиков, травы, разрезая верхний слой почвы на небольшие кубики. Следом шли женщины, выбирали лопатами эти кубики, относили в сторону и складывали их. Потом резали рыхлый торф, окапывая канавой место пожара. Дым забивал легкие, люди задыхались, отходили в сторону вдохнуть чистого воздуха и снова принимались за работу. Глаза у всех покраснели, по щекам, перемазанным сажей, текли слезы. Но никто не уходил, не бросал работы.

Нужно было добраться до влажного плотного слоя почвы, только тогда канава преградит путь огню.

Часа через два напряженной работы под подошвами людей зачавкала липкая коричневая кашка.

– Всё! – командовал дед Филипп. – Теперь оно само еще насосет воды. Порядок.

Вскоре на дне траншеи и вправду заблестела выступившая вода.

Люди, усталые, но довольные, расходились по домам. Еще несколько дней ветер доносил с болота до поселка дым. Потом остался только запах гари, да и тот скоро выветрился.

Осенью болото одарило нас урожаем ягод. Только в одном месте, среди зелени и кустов, усыпанных ягодами, зловещим пятном выделялся черный выгоревший квадрат, словно напоминающая людям, во что могло превратиться доброе, богатое болото.



Бурундучки

После памятного пожара на болоте, когда там всё погасло, дед Филипп собрал нас, ребяташек, и повел к месту бывшего пожара. Дед сказал, что надо нам свое болото в порядок привести. А то понарыли торфу, оставили канаву. В нее вода собирается, сушит болото. А лишняя сухость болоту ни к чему, сказал дед. Вот и придумал он с нами вместе ту канаву завалить вырытым торфом. И еще дед сказал, что через зарытую канаву травы и кустики скорее к месту пожара переберутся и затянут зеленью этот срам – выгоревшее место. Мы здорово устали, перемазались торфом, но канаву завалили. А когда пошли к поселку, Игорь вдруг закричал:

– Ой, смотрите, бурундучок!

Мы подумали, что это обыкновенный бурундучок, каких немало шныряло по болоту, лакомясь поспевающими ягодами. Но тот, которого нашел Игорь, был мертв. Бурундучок висел на кривой низкорослой березке, словно его повесили специально. Шейка зверька находилась в развилке между стволиком березки и сучком.

– Кто это его? – спросила я со слезами на глазах.

И тут кто-то из ребят опять нашел мертвого бурундучка, точно так же повешенного на деревце. И немного погодя – еще.

Дед Филипп остановился, задумался, опершись на лопату.
– Вот какое дело, я думаю, – сказал он. – Видно, у этих бурундучков семьи погибли от пожара. А они не стерпели, сердечные. Одному ху-у-до на свете жить, – сказал покряхтывая дед. – По себе знаю, ой худо. Вот они и решили с жизнью расстаться. Петлю им, конечно, не из чего сделать. Так они ишь чего удумали. Сунул голову в развилку, прыгнул с сучочка, и конец.

Меня потрясло тогда объяснение деда Филиппа. До слез жаль было маленьких полосатых зверьков, которых постигло такое непоправимое горе – гибель их семей. И даже лежа вечером в постели, я все представляла себе, как мечутся, гибнут в огне маленькие полосатые бурундучата, а их родители с горя кончают жизнь самоубийством.

Эта история не давала мне покоя долгие годы. Уже став взрослой, я рассказала о ней одному солидному человеку, который занимался изучением жизни животных.

– Нет, – заявил он очень авторитетно. – Это чепуха. Я могу допустить мысль, что бурундуки угорели от дыма во время пожара, потеряли чувство ориентации и равновесия, сорвались в бессознательном состоянии со ствола дерева и случайно, совершенно случайно угодили шеей в развилку. Нет, в природе не может быть фактов самоубийства среди животных.

– А лебеди? – спросила я. – Ведь если убивают одного лебедя, то его друг складывает крылья, камнем падает на землю и погибает. Об этом много написано.

– Не знаю, – сухо сказал ученый. – Лично я ни разу не видел, чтобы так было на самом деле. Кстати, и висящих бурундуков мне видеть тоже не приходилось.

После этого разговора мне стало грустно. Жаль было расставаться с красивой, пусть сказкой, о нежной любви и верности птиц и зверей.

А может быть, прав был неграмотный дед Филипп, а не этот ученый? Ведь нарымский старожил изучал животных не по книгам, а наяву, наблюдая за ними всю свою жизнь.

И все-таки говорят, что лебеди падают камнем на землю и погибают, если теряют друга...



Запрещенный прием

Мать возилась у печки, готовила ужин. Двенадцатилетний Димка сидел за столом и читал книгу. А шестилетней Альке нечем было заняться. Несколько раз она пыталась заговорить с братом, но Дима с головой ушел в книгу. Он отмахивался от сестренки, как от какого-нибудь назойливого комара.

Алька пошла на кухню, к матери.

– Мам, ну что мне делать?

– На, унеси ложки на стол. Сейчас суп доварится, ужинать будем.

Алька разложила на столе ложки: себе, брату и маме. Ну разве это занятие – ложки разложить? Она села напротив брата и так же, как он, подперла руками щеки.

– Дима, – позвала она ласковым голосом. – Дим!

– Ну чего тебе?

– А я новую игру знаю, мы в садике играли.

– Какую? – Димка захлопнул книгу и, поставив на нее локти, сердито посмотрел на сестренку.

– Переглядки, – сказала Алька.

– Какие переглядки? – недовольным тоном спросил опять Димка.

– Ну вот, садимся за столики, – начала объяснять Алька, – и смотрим друг другу в глаза. И нельзя моргать. Кто дольше пересмотрит, тот победит. Я в садике всех победила. Давай с тобой!

– Давай, – согласился Димка и отодвинул в сторону книгу. Всё равно эта прилипала не отстанет. Димка читал: есть в теплых морях такая рыба-прилипала. Она спасается от хищников тем, что прилипнет всем телом к большой рыбине и никакой силой ее не оторвать. Алька такая же.

Брат и сестра уставились в глаза друг друга. Димка сидит, чуть прищурив серые глаза, а Алька таращит свои рыжие в крапинку кошачьи глазищи. Время идет. Димка улыбается и всё щурит глаза. А у Альки даже слезы выступили от напряжения. Только бы не моргнуть, только бы победить!

У нее начинают дрожать веки.

– Моргай, – шепчет она брату как заклинание. – Моргай!

Димка и не думает моргать. Тогда Алькина рука нащупывает на столе ложку. Молниеносный взмах – и ложка летит в Димку. Тот едва успевает отклониться в сторону. Ложка ударяется о стену и падает на пол.

– Моргнул, моргнул! – кричит Алька и хлопает в ладоши. – Я победила!



Прогулка на природу

К Лене пришли подружки по шестому классу: Надя, Наташа и Лариса. Девочки еще в школе договорились, что в выходной, если будет не очень морозно, наберут с собой еды и отправятся на лыжах в лес.

Воскресенье, как по заказу, выдалось ярким и солнечным. Десять градусов мороза для сибиряка что оттепель. Девочки наделали бутербродов, взяли с собой вареных яиц, свиного соленого сала, налили в термос горячего чая со смородиновым вареньем.

Первоклашка Таня, сестренка Лены, вертелась около старших девочек и без всякой надежды однообразно и нудно тянула:

– Лена, ну пойду, а?

– Да отстань ты от меня! – рассердилась Лена на сестру. – Куда ты пойдешь? Думаешь, что мы ждать тебя станем, пока ты будешь ползти следом за нами?

– Я могу быстро идти, – канючила Таня.

– Не можешь ты ничего. Такая малявка, а за большими тянешься.

– Вы большие? – крикнула пронзительным голосом Таня. – Ой, не могу! Взрослых корчат из себя. Да вы мне и не нужны, поняли? Я и без вас пойду, одна!

Старшие девочки оделись и ушли. А Таня принялась торопливо собирать в сумку припасы.

– Ты куда это? – спросила строго мама.

– На природу! – сказала с вызовом Таня.

Мама хотела было еще что-то добавить, но папа тронул ее за плечо и незаметно для Тани махнул рукой: пусть идет.

– Мне термос надо! – сказала независимым тоном Таня.

– Ты же знаешь, что у нас только один термос, его Лена взяла.

– Лена, Лена... Куда я теперь чай налью?

– Во что? – поправил ее папа. – В бутылку налей.

Таня оделась, взяла в руки большую хозяйственную сумку с «припасами» и пошла к двери. На пороге она остановилась, повернулась к маме и папе, сказала им «прощайте» и вышла.

Папа подошел к двери, прислушался. Во дворе было тихо, потом хлопнула наружная дверь, но не та, что вела на улицу, а другая, через которую летом выходили в огород.

За окном высился сугроб снега. Но у дома, как это обычно бывает, снег вылизало ветром почти до земли. Сюда, на чистое место, Таня притащила свои маленькие голубые санки. Она поставила их, села на санки спиной к сугробу, поставила рядом с собой сумку, вынула хлеб с колбасой и принялась жевать.

– Мать, ты у нас чем собираешься сегодня заниматься? – спросил папа, не отрывая взгляда от дочери.

– Пошить хочется, – сказала мама. – А потом фильм по телевизору хороший будет.

– Отложим шитье и телевизор, – сказал папа. – Давай сходим в лес на лыжах. Смотри, день сегодня какой красивый.

Вскоре папа, мама и Таня шагали к лесу. Папа нес на плече три пары лыж: большие, поменьше и совсем маленькие. Таня бежала впереди и всё оглядывалась на папу и маму, словно проверяя, идут ли они за ней.

А день действительно был очень красивым. Снег начал кое-где подтаивать на солнце. Не так еще чтоб до луж или ручьев. Он просто подернулся хрусткой ледяной корочкой, легкой и прозрачной, узорчатой, как кружева. Солнце играло на изломах льдинок, расцветчивало их, превращая в бриллиантовые россыпи. А небо было синим, как в июле.

Дорога шла вниз под уклон, а там, за ложком, начиналось огромное поле, засаженное молодыми сосенками. Они стояли такие пушистые, немного рыжие на фоне синего неба и белого снега.

Таня побежала к сосенкам, раскинув руки в стороны.

– Ура-а! – кричала она. – Природа!

Мама и папа шагали по дороге, смотрели на дочку и улыбались. И были благодарны Тане, что вытащила их из дома. На природу.



Очень просто быть художником

Мама у Вики художник. Не великий, конечно, не знаменитый, но художник. Работает она в торговой фирме. Оформляет витрины магазинов, пишет рекламы. Очень красиво всё, что делает мама. Когда очередная работа ее завершается, мама берет с собой восьмилетнюю Вику, и они – обычно тайком от папы – отправляются посмотреть эту законченную работу.

Папа работает технологом на большом заводе и к маминной работе – так кажется Вике – относится как к пустой забаве.

Мама с Викторой, рука в руке, стоят неподалеку от новенькой рекламы, выставленной в витрине магазина «Океан». Улыбающаяся, очень красивая женщина смотрит на прохожих с маминной рекламы и говорит: «Вкусны и высококалорийны блюда, приготовленные из океанических рыб». За спиной женщины голубая гладь океана. Вдали белеет рыболовецкое судно, а внизу, выставив из воды блестящую серую спину, украшенную зубчатым плавником, плывет огромная рыбина. Океаническая.

– Прелесть, мамочка, прелесть, – горячо шепчет Вика, сжимая руку матери.

– Тише, – говорит мама счастливым голосом. – Значит, тебе нравится?

– Очень! Если б я так могла... Ну почему, мама, по всем у меня пятерки, а по рисованию три? Если и во втором классе будет тройка...

– Ничего, – утешает Вику мама, – скоро у нас с папой отпуск. Поедем на природу, и я с тобой позанимаюсь. Возьмем

альбомы, карандаши, краски. Во втором ты у меня круглой отличницей будешь. Ну что, пойдём?

– Подожди, ещё немного посмотрю.

Они стоят и смотрят опять на женщину, рыбину, океан.

– Пойдем, – говорит на этот раз Вика.

– Подожди-ка, – шепчет мама, наклонившись к дочери. – Вон, смотри, мужчины рассматривают рекламу, говорят что-то. Мне очень важно знать мнение людей о моей работе.

Мама поправляет волосы и, сжав Викину руку, направляется в сторону мужчин. Мама ничего не говорит им, а просто замедляет шаги и усиленно напрягает слух, даже подается при этом немного в сторону. Вика и без всякого напряжения слышит, как один мужчина говорит другому, ехидно улыбаясь:

– Ишь ты, ешьте океаническую рыбу! Речную-то всю потравили, извели. Наверно, не меньше в ней калорийности было. Ну а теперь, конечно, ешьте океаническую.

– Пойдем, – говорит сердитым голосом мама и стремительно направляется к троллейбусной остановке.

Вика с трудом поспекает за ней.

– Мама, ты про них не думай, – просит она, сдвинув белые брови. – Они, наверно, технологи.

Мама останавливается, точно споткнувшись на ровном месте, смотрит на дочку, закусив губу, и вдруг, не удержавшись, хохочет.

– Ох, дочь, с тобой не соскучишься!

А потом наступает этот долгожданный отпуск. Мама с папой собирают в дорогу необходимое.

– Только ничего лишнего! – строго предупреждает папа. – Нечего перегружать машину безделушками.

– Надеюсь, этюдник ты позволишь взять? – говорит язвительно мама.

Родители часто ссорятся. Вика к этому давно привыкла, но всё равно ей становится скучно от их ссоры.

– Ты мне в прошлый отпуск завалила машину грудой ненужных вещей, – говорит папа.

– Может быть, самые ненужные из них – это я и Виктория? – спрашивает мама и тут же с тяжелым вздохом добавляет: –

Боже мой, этот несчастный «Запорожец» тебе дороже всего на свете!

– Не городи чепухи! – обрывает папа.

Наконец всё уложено. Можно ехать. Когда город остается позади и под машину серой рекой уплывает стремительно асфальт, а по обе стороны дороги двумя полосами бегут назад деревья и кусты, одним словом, когда начинается «природа», папа заметно добрее. Он откидывается на спинку сиденья, держа одну руку на руле, и что-то напевает себе под нос.

Потом родители спорят немного насчет выбора места для стоянки. Потом натягивают палатку, намечают место для костра.

Вика залезает в палатку и недолго лежит там на спине, подложив руки под голову. Недолго потому, что днем, на солнце, воздух в палатке моментально накаляется, и становится в ней нестерпимо жарко. Зато ночью – это Вика знает по прошлой поездке – в палатке холодно.

– Мама, рисовать! – говорит Вика, вспомнив обещание матери.

– О, ещё один художник в семье! – говорит насмешливым, но не очень обидным тоном папа.

– Моя дочь! – улыбается мама.

Нет, на природе родители гораздо добрее. Дома они бы сейчас непременно поссорились.

– Посмотри вокруг, – говорит мама Вике, – красиво?

– Красиво! – соглашается Вика.

– Вот теперь сядь и попробуй это нарисовать. Я, например, делаю так, – делится опытом мама, – смотрю вокруг и кусочек особо понравившегося мне пейзажа мысленно замыкаю в рамку. Чётко намечаю границы того, что должно стать картиной. Попробуй и ты так.

– Вот, – говорит с готовностью Вика. – Вот, мама! – она обрисовывает в воздухе пальцем воображаемую рамку. – Прелесть, какая будет картина!

– Теперь садись и твори. Не буду тебе мешать, – говорит мама.

Вика творит.

– Всё! – кричит она через несколько минут, вскакивая на ноги, и уже с сомнением смотрит на свой рисунок.

Мама протягивает руку, берет альбом и болезненно морщится:

– Ты, наверно, технологом будешь, когда вырастешь.

– Тоже мне Репин, – говорит обиженным тоном папа. Но Вика чувствует: не столько обиженным, сколько обидным для мамы.

«Сейчас они поссорятся, – думает Вика, – и никакая природа не поможет».

– Перестаньте, – кричит она родителям. – Я не буду художником, я не буду технологом. Я буду милиционером. Поняли? И не ссорьтесь.

Остаток дня и вечер проходят довольно мирно. А утром, едва Вика открывает глаза, мама торопит ее:

– Ты только глянь, какое небо. Такая красотища! Попробуй это нарисовать. И лучше акварелью. Она позволит дать мягкие переходы от одного тона к другому. Посмотри, сколько красок на небе: от нежно-розового до зеленого.

– Ты что?! – пугается мама, когда Вика тянется кисточкой к синей краске. – Что ты хочешь рисовать этой краской?

– Реку. Реки всегда же рисуют синими. И твой океан был синий.

– Посмотри на воду. Разве она синяя? Синий цвет теплый. Понимаешь? А сейчас вода в реке холодная. Видишь, какой у нее холодный стальной цвет. Сейчас реку надо рисовать черной краской, только развести ее получше водой. Получится мягкий серый тон. А у берега вода теплее. Сюда можно добавить немного синева. А там, где лучи солнца коснулись воды, по реке пошли блёстки. Оставим на бумаге светлые незакрашенные пятна...

Мама полностью завладела кисточкой и красками. Вика сидит на корточках, подперев ладонями щеки, и смотрит на быстрые мамины руки.

– А зелень? Посмотри, какая она разная. Кое-где надо добавить желтизны, и по поляне сразу запрыгают солнечные зайчики. А в тени кусты темные, и одной зеленой краской тут не обойтись. Нужно капнуть синей, а возможно, даже черной краски. На палитре – палитрой послужит чистый лист бумаги – мы попробуем смешанные краски, посмотрим, получится ли желаемый тон.

На Викиных глазах происходит чудо: картина оживает. Всё на ней как настоящее: река – кажется, дотронься пальцем, и он станет мокрым, – кусты, трава, берег, усыпанный мелкой светло-серой галькой, и дальние заводские трубы невидимого из-за леса города. И небо, полыхающее розовым. Лилово-голубовато-зеленое небо.

– Всё поняла, мамочка! Поняла! – кричит радостно Вика. – Я теперь тоже так смогу! – Она вырывает альбом из маминых рук и бежит с ним к отцу.

– Папа, художником быть нетрудно. Надо рисовать то, что видишь. И всё.

– Да, – соглашается с ней папа, – художником быть легко. И надо для этого совсем немного: быть увлеченным и хоть самую малость талантливым. – Папа рассматривает мамин рисунок и, наклонившись к дочери, говорит ей негромко: – У нашей мамы есть то и другое.

– Папа, ты ей скажи! – тормозит отца Вика. – Вы всё ссоритесь, спорите. Скажи ей! А то мама думает, что ты ее не любишь.

Отец подхватывает Вику, поднимает над своей головой и громко нараспев говорит:

– Самое страшное в жизни – быть успокоенным. Ты это запомни, дочь. Правда, это не я первый сказал, но это здорово верно.

Он опускает Вику на землю и, направляясь к маме, произносит:

– А тем, кого любят, не нужно об этом говорить. Они сами знают. Верно?

Мама не отвечает. Она сидит, обхватив руками колени и склонив к плечу голову. Она с улыбкой искоса смотрит на дочь и отца.

Вика думает: сейчас мама провела мысленно вокруг них рамку. Красивая картина получается! На заднем плане оранжевая палатка, зеленый лес, вишневый «Запорожец» и голубое чистое небо. А на переднем, в центре, они: Вика и папа.

Это очень просто, быть художником. Нужно рисовать то, что видишь вокруг и что любишь.



Ласка

В доме завелись мыши. Мы построили дом сами. Шесть лет прожили в нем, ни о каких мышах знать ничего не знали. И вдруг, на тебе – мыши. Они возились под полом по ночам. Потом стали грызть в углу доски пола. Видно, надоело им питаться одной сырой картошкой в подполье, и они решили проникнуть в кухню, посмотреть, нельзя ли тут чем поживиться. Может быть, мысли у них были и не такие бессовестные. Может, им просто осточертело темное подполье, захотелось взглянуть, что творится наверху, в доме. Как говорится: людей посмотреть, себя показать.

Наконец мыши обнаглели. Они стали вылазить из норы среди белого дня. И если кто-нибудь из нас сидел неподвижно, нахальная мышь шныряла под столом у самых ног. Мыши надоели нам окончательно. Они поднимали под полом такую возню, так носились и пищали, что будили нас по ночам. Кроме того, совершая ночные набеги, они нанесли нам урон: изгрызли шерстяной носок младшей дочери Светы и объели перед кожного сапога старшей, Оли.

Им хотелось чего-нибудь повкусней, и мыши стали прогрызать стенку шкафа, где хранились продукты.

Самое обидное, что в доме жил кот Филимон Фадеевич. Сначала, правда, у него было нормальное кошачье имя: Васька. Как-то папа сидел в кресле и читал газету. Потом встал, отложил газету и включил телевизор. Вернулся, чтобы сесть в кресло, а на нем уже кот развалился.

– Привет, Филимон Фадеевич, – сказал папа, – вы уже тут как тут. – И прогнал кота.

Девочкам, особенно младшей, Свете, так понравилось это новое имя, что иначе как Филимоном Фадеевичем кота с тех пор не называли.

Мне кажется, что раньше надо было бы нам начать величать его по имени-отчеству. К такому коту, как наш – белому, толстому и ленивому – никак не подходило легкомысленное имя Васька.

Надо заметить, что мышей наш кот терпеть не мог, а может быть, просто был к ним равнодушен. Но не охотился на них

совершенно. Первое время, когда появились мыши, мы пытались научить кота ловить их. Когда какая-нибудь мышь шныррррла среди бела дня под столом, мы хватали сонного кота, тащили его в кухню и совали под стол. Он упирался, вырывался из рук и ленивой трусцой убегал в комнату, чтобы опять развалиться в мягком кресле.

Однажды в подполье начало твориться что-то совсем невообразимое. Казалось, кто-то ударялся головой о доски пола, потом раздавался отчаянный мышиный писк и обрывался на самой высокой ноте. Иногда еще раз-другой пискнет мышь, и всё стихнет. Этот писк был совсем не таким, когда мыши дрались меж собой из-за корочки хлеба или чего-нибудь съестного. Это был предсмертный крик ужаса.

– Что они там, от голода начали друг друга есть, что ли? – заметил папа.

Жалостливая Света сказала:

– Всю еду прячете, прячете. Жалко вам. Можно уж было оставлять им немного хлеба на полу. Наверно, вы не обеднели бы.

Папа рассмеялся.

– Не хватает только начать мышей подкармливать. Их тогда столько разведется, что они весь дом в труху превратят.

Вскоре как-то так незаметно, будто сами собой, мыши исчезли. Они перестали выглядывать из нор и появляться на кухне. И пищать под полом перестали, и не стало попадаться обгрызанной мышами картошки в подполье.

Мышей не стало, но иногда что-то живое, тихо прошуршав, пробегало под полом. Потом ночью кто-то в углу снова грыз доски пола.

– Опять появились, – сказал с ожесточением папа.

А когда утром обнаружили, что забытая на кухонном столе голова от копченой рыбины вся изгрызана острыми мелкими зубами, папа совсем рассердился.

– Не хватало еще, чтоб по столу всякая нечисть бегала. И ведь похоже, что не мыши. Наверно, крыса.

От этих слов у меня мурашки по спине пробежали. Крыса. Очень я не люблю и, откровенно сказать, боюсь этих пронырливых и прожорливых зверьков с длинным голым хвостом и маленькими злыми глазками на длинной зубастой морде.

– Ну всё! – решительно сказал папа.

Он принес новенькую крысоловку, насадил на крючок кусочек колбасы и поставил ее под стол к стене. Несколько дней простояла крысоловка нетронутой. Колбаса совсем высохла, и папа снял ее с крючка.

– Надо было рыбу копченую положить, – сказала Света. – Раз она голову копченую объела, значит, любит рыбу.

– Ну что ж, попробуем на рыбу, – согласился папа.

В ту же ночь в кухне что-то громко хлопнуло, точно выстрелило.

– Попалась! – сказал папа и бегом бросился в кухню. Он включил свет, наклонился, чтобы взять крысоловку, и застыл от изумления на месте. Из-под стола метнулось стрелой в угол за холодильник тонкое тельце белоснежного зверька.

Папа взял в руки крысоловку. Она захлопнулась, прищемив краешек рыбьей шкурки. Я тоже встала и вышла в кухню.

– Ну что? – спросила я негромко, чтобы не разбудить спящих девочек.

– Это ласка, – ответил папа. – Вот почему исчезли в доме мыши. У нас поселилась ласка. Теперь ни одна мышь близко не подойдет. Ну а если подойдет, тут ей и конец. Ласка – очень отчаянный зверек. В случае необходимости вступает в единоборство даже с крысой, хоть сама, наверное, не больше крысы. – Папа еще раз осмотрел крысоловку. – Хорошо, что кусочек рыбы большой. Она потянула вот тут, за шкурку, и капкан ударил по рыбе, а не по голове ласки. Иначе бы – конец. Пусть живет!

Папа снял с крючка кусочек рыбы и положил под стол. Мы выключили свет и легли спать. Я никак не могла уснуть. «Наестся ласка рыбы, захочет пить. А где она найдет воду?».

Я встала, налила в блюдечко воды, поставила под стол рядом с кусочком рыбы. Да какая ж еда без хлеба? Отрезала кусочек хлеба и тоже положила под стол.

В эту ночь еда осталась нетронутой. Видно, ласка здорово перепугалась громкого выстрела крысоловки. Но на следующую ночь в кухне послышался шорох. Кто-то грыз подсохший за ночь хлеб. Мне показалось даже – я слышала, как маленькие коготки скребли о край блюдца, когда зверек пил воду.

– Мама, мы подружались, – сказала Света. – Она теперь полюбила меня. Ну мы пойдем, а то Мушка тебя стесняется.

Вечером всё стихает в доме. Спят мои девочки, и я ложусь. Засыпая, вижу, как легко выпрыгивает из шкафа пушистая пятнистая рысь, беззвучно взбирается на мою кровать, ложится в ногах и сонно мурлычет.

Открываю глаза. Это наш кот опять, свернувшись калачиком, лежит на одеяле. Никак не отучу его от дурной привычки.

Света тихонько смеется во сне. Может быть, ей тоже снится укрощенная рысь...



СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Золотые стрелы	4
Долгое лето детства	30
Богородица, Исусик и другие	73

Рассказы

Сказка, не кончайся!	123
«Сорока-воровка»	139
Первая оценка	143
Пожар на болоте	144
Бурундучки	147
Запрещенный прием	149
Прогулка на природу	150
Очень просто быть художником	152
Ласка	157
Рысь	160

Литературно-художественное издание

Людмила Михайловна Яковлева

ДОЛГОЕ ЛЕТО ДЕТСТВА

Повести, рассказы

Редактор *С. А. Мазаева*

Технический редактор *В. И. Труханова*

Оператор компьютерной верстки и корректор *А. Ф. Великанов*

Подписано к печати 29.12.2004. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Pragmatica». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,5. Тираж 600 экз. Заказ № 611.

Издательство «Кузбассвузиздат». 650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. 58-34-48
E-mail: 582934@rambler.ru

